

Царевич Алексей Петрович (По поводу картины Н.Н. Ге).

[5]

Православная церковь с самого водворения христианства в Русской земле, стараясь утвердить святость и крепость брачного союза и семейных связей, поставила нравственным правилом, что муж, без суда церкви расторгающий свою связь с женою, особенно насильно, против воли жены, поступает преступно перед Богом и нечестно пред людьми. Такой взгляд хотя и укоренился в нравственных понятиях, но долго встречал сопротивление в нравах и привычках, унаследованных от языческих времен и умягчавшихся медленно при неблагоприятных исторических судьбах русского народа. Довольно осталось нам черт, показывающих, что русская жизнь упорно не поддавалась поучениям благочестивых книжников о святости брачного союза. В XI веке митрополит Иоанн вооружился против языческих приемов домашней жизни и половых отношений. Тогда со времени крещения Руси едва проходило столетие; но через триста лет с небольшим после того француз Ляннуа, посещавший Новгород, замечал, что там мужья продавали и меняли жен; а через два века с небольшим после того, как Ляннуа был в Новгороде, патриарху Филарету оказалось нужным порицать русских людей за то, что они живут в связи с женщинами без венчания, продают и меняют их. Боязнь неразрывности брака была причиной, что многие, находясь в супружеской связи, не хотели венчаться, и от этого существовало различие жен венчанных и невенчанных, признаваемое даже официальными бумагами. Это явление заметно было в низших слоях народа, в особенности у казаков, которые более, чем всякие другие русские люди, предоставлены были на волю собственным народным взглядам и привычкам. В высших слоях нравственные понятия укреплялись прочнее; здесь люди были знакомее с церковью и ее учением; но ханжество нашло лазейки для человеческой необузданности: муж, невзлюбивший жены, загонял ее в гроб суровым обращением и побоями и искал себе оправдания в том, одобренном церковною нравственностью, правиле, что муж есть глава жены и имеет власть над нею; иногда же муж приневоливал жену вступить в монастырь, а сам женился на другой — форма соблюдалась, совесть успокоивалась, новый брак казался законным. Эту черту нравов наглядно показывает народная песня, изображающая судьбу женщины — «постылой жены», которую муж-боярин принуждает против ее воли постричься и посхимиться, а сам женится на ее разлучнице. Из жизни князей удельных времен мало известно примеров в таком роде: князья сравнительно были образованнее, находились в большем общении с духовенством и подчинялись влиянию церкви; пока церковь была сильнее их, они боялись ее. Но в Москве светская власть возросла до такой степени, что произвол ее не щадил уже духовных лиц; когда стали терять силу наставления последних о неподсудности церкви мирским властям, тогда и в семейной жизни верховных лиц явились примеры нарушения святости

брака. Великий князь Василий Иванович поступил со своею женой Соломонию именно так, как поет упомянутая нами народная песня: он приказал насильно постричь свою жену в монастырь, а сам женился на Елене Глинской. Поднялись было голоса против такого беззакония, но должны были замолкнуть; у великого князя было много способов покарать того, кто дерзал охуждать (порицать. — Ред.) его деяния, а пастыри принуждены были выдумывать софизмы к оправданию поступков властелина. Иван Васильевич, первый московский царь, шагнул далее. Он в течение своего царствования сочетался браком столько раз, сколько не дозволялось церковными правилами; не стесняясь, он запирали своих жен в монастырь, когда ему хотелось праздновать свою новую свадьбу.

После царствования Ивана Грозного в семейной жизни московских царей долго не происходило ничего подобного. Цари Федор, Борис, Шуйский жили согласно со своими женами. Вступила на престол новая династия, дом Романовых; первые цари из этого дома, один за другим, отличались безупречной семейной нравственностью. За ними не было ни женолюбия, ни необузданного разгула; вся царская семья в глазах народа показывала образец богобоязненной жизни.

Явился на престоле Петр; началась ломка, перестройка государственной, общественной, домашней жизни. Царь: бомбардир, шаутбенахт, каменщик, плотник, кузнец, лекарь, законодатель, учитель — всему сам дает почин; но не все у него идет на новый лад; многое в поступках Петра напомнило Руси времена старые, времена давно забытые. Александровская слобода царя Ивана оживала в Преображенском селе, и родитель царя Ивана, великий князь Василий Иванович, если бы встал из гроба, то нашел бы, что названный потомок его шагнул еще далее своего предка в свободе семейной жизни.

Петр женился на Евдокии Федоровне Лопухиной тогда еще, когда ему было шестнадцать лет. Он женился так, как женилось тогда множество людей: собственно, не он женился, а его женили. Его женила мать. Несмотря на обычность такого рода женитьбы в русской жизни, брак Петра был не похож на браки предшествовавших царей, его предков, потому что последние, благодаря слагавшимся обстоятельствам своей жизни, выбирали себе жен по собственной воле¹, и в этом, как нам кажется, лежит первый зародыш последующей судьбы брака Петра, не похожей на судьбу прежних царских браков. Едва ли Петр выбрал бы ту, которую ему дали, если бы его не женили, а он сам женился. Впрочем, первые

[6]

года его супружества, насколько нам известно, прошли спокойно; плодами супружеской связи Петра с Евдокией были двое сыновей; из них меньшей, Александр, умер скоро после своего рождения; старший,

¹ Примечания и комментарии Н. И. Костомарова затекстовые, обозначены цифрами.

Алексей, родившийся 18 февраля 1690 года, пережил своего брата себе на горе.

Царица Евдокия Федоровна была простая русская любящая женщина. В ее письмах, где она выражает свою грусть в разлуке со своим «лапушкой», слышится простодушное искреннее чувство.

Историки пытались объяснить, что Евдокия не могла удовлетворить духовным потребностям Петра по своей узкости, закоренелости в предрассудках, приверженности к старине, богомольству, праздности и т. п., что гениальная натура великого преобразователя требовала чего-то иного, высшего, более развитого, нуждалась в такой женщине, которая бы могла его понимать, на что неспособна была дочь Лопухина... Нам кажется, ларчик проще открывается. Петр поступил так же, как поступал обыкновенно русский удалый молодец, когда, по выражению песни, зазнобит ему сердце красна девица или «злодеюшка чужа жена» и станет ему «своя жена, полынь горькая трава».

Не чувствовавши влечения к Евдокии при выборе ее в жены, Петр сживался с нею и, может быть, сжился бы навсегда, если бы не приглянулась Петру немка, Анна Монс, с которой в Немецкой слободе свел его просветитель Лефорт, до того времени сам находившийся в связи с этой женщиной, а Петр не умел удерживать своих страстей и как самодержавный царь не считал нужным себе отказывать в удовлетворении своих побуждений. Немка ему пришлась по нраву; жена опротивела так же точно, как, отведавши через того же Лефорта иноземщины, невлюбил он обычаи родной московщины.

Это знакомство с немкой произошло в 1692 году, и с тех пор, по свидетельству иностранцев, Петр стал чуждаться своего семейного очага.

Кто же и что была эта Монс? Любила ли она Петра? Нашел ли он в ней верное, искреннее, понимающее его сердце? Ничуть не бывало. Это был тип женщины легкого поведения, обладающей наружным лоском, тем кокетством, которое кажется отсутствием всякого кокетства и способно обворожить пылкого человека, но само по себе заключает неспособность любить никого и ничего, кроме суеты и блеска житейской обстановки. Анна Монс не любила Петра и, приобретши уже до знакомства с ним опытность в амурных делах, завела после связь с саксонским министром Кенигсеком. Из вынутых у случайно утонувшего Кенигсека бумаг Петру открылась ее измена; тогда Анна лгала перед царем и запиралась самым пошлым образом, пока не была уличена вещественными признаками обмана. На такую-то женщину променял Петр свою законную жену, царицу Евдокию, мать наследника престола Алексея.

Петр вовсе не был каким-нибудь записным любителем женского естества, переборчивым, непостоянным донжуаном: ему некогда было предаваться этого рода забавам, поглощающим большей частью ум дюжинных людей. Петр привязался к Анне Монс от всей души, привязался так же, как привязался потом к другой немке, возведенной им а сан императрицы, под именем Екатерины I. Понятно, что пленило

Петра в немке из Немецкой слободы: то была иноземщина, та же иноземщина, которая побуждала его сшить и надеть на подвластную ему Московскую Русь западноевропейскую одежду.

Видно, что царице больно отзывалась эта перемена. В письмах своих она жаловалась царю, что не видит его; но, вероятно, жаловалась также своему отцу, своим родным, а те изъявляли неудовольствие к поступкам Петра. До Петра доходили эти жалобы. Около четырех лет, однако, Лопухиных не трогали. Петр совершал свои азовские походы и был занят. Царица оставалась забытою.

Но перед поездкою царя за границу, в марте 1697 года, открылся заговор Соковнина, Циклера и Пушкина. Заговорщиков казнили с разными вычурами.

Вслед за тем отца царицы сослали в Тотьму, а двух его братьев в Саранск и Вязьму. За что последовала эта ссылка — неведомо. Нельзя подозревать, чтоб эти люди могли быть причастными к заговору; да если бы так было, то их постигло бы иное наказание. Несомненно, что в то время много было недовольных между русскими намерением Петра ехать в чужие края; при его пристрастии к иноземщине русские боялись, что царь наводнит иноземцами Русь. Лопухины, родные царицы, были из таких, которым не по сердцу была иноземщина, и это понятно в их положении: плодом любви царя к иноземщине было уже то, что царь предпочел немку своей жене. Царь, не терпевший ни в чем несогласия с собою, отправил в ссылку родных немилой жены и в то время уже помышлял, как бы ему избавиться от ней самой. Ему хотелось сделать это так, чтобы разлука с нею имела вид добровольного с ее стороны согласия.

И вот, будучи за границей, из Амстердама и из Лондона, поручал он боярам, Льву Нарышкину и Стрешневу, уговорить царицу добровольно вступить в монастырь. То же писано было и духовнику царицы. Это не удавалось. «Мы, — писал к царю Стрешнев, — о том говорили прилежно, чтобы учинить в свободе, а она упрямится».

После своего возвращения из-за границы Петр начал разом, и бритвою, и топором палача, разделяваться с ненавистною для него стариной. Тогда, призвавши царицу, сказал ей: «Как смела ты послушаться, когда я приказывал неоднократно письмами отойти в монастырь, и кто тебя научил противиться?».

Бедная царица отвечала, что на ее попечении был маленький сын, царевич Алексей. Так передает дело современник, цесарский посол Гвариент, сообщая, что царь в доме почтмейстера Виниуса беседовал с Евдокиєю несколько часов.

Как шла эта беседа — неизвестно, но, конечно, царю хотелось покончить все дело без шума; но и теперь это не удалось. Царица, очевидно, не соглашалась.

Через три недели после того Евдокию повезли насильно в карете в Суздаль и заключили в Покровском девичьем монастыре. Сначала ее оставили в мирской одежде; носились вести, что ее постригать не станут

и будет она пребывать как царица; но чрез несколько времени затем отправлен был в Суздаль стольник Семен Языков, и в келье старицы Мартемьяны Евдокия была насильно пострижена под именем старицы Елены.

Петр был сердит на нее за ее несогласие постричься добровольно и за то осудил ее на жестокое житье; ей не дали ни прислуги, не назначили особой пищи. Она не получала даже того, что давалось царским сестрам, которых обвиняли в злоумышлении со стрельцами. Несчастная выпрашивала у братней жены прислать ей получше пищи, рыбы, вина, потому что в монастыре все гнилое: «Покаместь жива, пожалуйста, пойте, да кормите, да одевайте нищую», — писала она. Ее не только разлучили с сыном, но и не позволяли видеться с ним...

Отверженная, заключенная, она через пять лет после того все еще относилась с любовью к царю и жалела, что не видит его и не слышит о нем. В 1705 году писала она боярину Стрешневу: «Долго ли мне так жить, что ево государя не слышу и не вижу, ни сына моего. Уже моему бедствию пятый

[7]

кот (год), а от нево государя милости нет. Пожалуй, Тихон Никитич, побей челом, чтоб мне про ево государево здоровье слышать и сына нашего такожде слышати, пожалуй и о сродниках моих попроси, чтобы мне с ними видеться. Яви ко мне бедной милость свою, побей челом ему государю, чтобы мне пожаловал жить, а я на милость твою надеюся, учини милостиво, а мне ни чем тебе воздать, так тебе Бог заплатит». Моления были напрасны. В чем же виновата была эта бедная страдальца? В манифесте 5 марта 1718 года, напечатанном и публично прочитанном (впоследствии с другими подобными бумагами напечатанном при Екатерине I), излагались вины бывшей царицы; не скрыта была ее связь с Глебовым, возникшая уже не скоро после ее заточения; конечно, если бы царица в чем-нибудь была виновна до своего пострижения, то здесь не забыли бы этого поставить на вид; но в манифесте сказано только, что царица Евдокия для «некоторых своих противностей и подозрения постриглась», выражение неясное, но, при сопоставлении обстоятельств времени, противность ее состояла в том, что она любила Петра, любила своего сына; связь Петра с немкою огорчала ее, и, надеясь, что муж одумается, отгуляется, как говорится, она не хотела постригаться добровольно, не хотела осудить себя на вечную разлуку и с сыном, и с мужем.

Таким образом, совершено было одно из таких дел, которых не видала Русь за своими царями уже более столетия. Нравственные понятия русских в те времена не могли не возбуждать в народе порицаний поступка Петра. «Что это за царь? Жену в монастырь постриг насильно, а сам с немкою живет!» — говорили русские люди, хотя и попадались за такие речи под страшные пытки «изобретательного зверя» Федора Ромодановского в Преображенском приказе. Через двадцать лет, когда

насилие над Евдокией отыгнулось новым страшным розыскным делом, несчастный епископ Досифей, преданный истязателям, говорил: «Только я один в сем деле попался, посмотрите и у всех что на сердцах. Извольте пустить уши в народ, что в народе говорят».

При пострижении царицы сыну ее было уже восемь лет; в такие годы мальчик начинает понимать, что вокруг него делается; впечатления этого возраста трудно изглаживаются в продолжение всей последующей жизни. Всегда, когда отец с матерью в ссоре, детям приходится делать выбор между отцом и матерью, любить то или другое лицо; любить обоих, когда эти оба не любят друг друга, слишком трудно: гораздо удобнее их обоих не любить; чаще всего так и бывает с детьми в подобных случаях. Но тогда, когда одна сторона насилует другую, когда другая является угнетенною, страдающею, сочувствие детей непременно будет на стороне последней. Иначе невозможно по свойству человеческой природы, скажем более: иначе человек не должен был бы носить звание человека.

После того что случилось между царем Петром и царицею Евдокией, сердце царевича Алексея неизбежно должно было склоняться на сторону матери; сын не мог полюбить отца, и по мере того как отец упорно держал несчастную мать в утеснении, в сердце сына укоренялась нелюбовь и отвращение к родителю. Так должно было произойти, так и случилось. Алексей не мог любить отца после того, что отец сделал с его матерью. Естественно, должно было возникнуть в нем и отвращение от того, что было поводом к поступку отца с его матерью или что близко способствовало гонению, которое терпела его мать. Петр отверг Евдокию оттого, что ему понравилась другая женщина, а эта другая понравилась ему по ее иноземным приемам; в Евдокии Петру казались противными ее русские супружеские ласки, русский склад этой женщины. Петр осудил невинную супругу на монастырскую нищету в то самое время, когда объявил гонение русскому платью и русской бороде, русским нравам и обычаям, и естественно было сыну возненавидеть иноземщину за свою мать, и стало ему, в противоположность с иноземщиной, дорогим все московско-русское, Петр своим поступком с женою оскорбил православную церковь, потому что она, церковь, одна имела данное от Бога право произносить суд между мужем и женой; и вот Алексея невольно тянуло к церкви, к ее уставам, к ее обрядам, к ее служителям, ко всему православно-религиозному; и Алексей должен был сделаться святошей. Все, что страдало с его матерью, должно было возбуждать в нем сочувствие; разом с матерью терпел русский народ, разоряемый завоевательными предприятиями Петра; и вот у сына должно было образоваться противное отцовским воинственным влечениям миролюбивое настроение. Алексей не любил ни войны, ни военщины, не пленялся завоеваниями и приобретениями, его идеал был мир и покой. Одним словом, все, что особенно любил отец, должно было сделаться особенно противным сыну, и все, что ненавидел отец, тянуло к себе сыновнее сердце.

В этом—то трагическом положении, в которое поставлен был царевич с ребяческих лет, в этой неизвестности выбора — быть на стороне либо отца, либо матери, затем, в естественном предпочтении угнетенной матери угнетающему отцу, заключается ключ к объяснению того характера, с каким Алексей является в истории. Бывают положения, в которых должен находиться человек, каких бы дарований он ни был и с каким бы темпераментом он ни родился; разница бывает только та, что при таких или других природных свойствах и способностях человек действует различно, но действует всегда в одном и том же направлении. Если бы царевич родился человеком великого ума и громадной воли, он все-таки явился бы в истории противником отца в его приемах и стремлениях, все-таки действовал бы во всем наперекор отцу. Этот царевич, напротив, был беден духовными дарованиями и рано сломился под гнетом печальных обстоятельств. Г-н Погодин (в своей статье «Суд над царевичем») напрасно силился показать, что царевич был не так ничтожен, как о нем составилось понятие; г-н Погодин указывает на следы замечательного ума, видимого в суждениях Алексея; мы, со своей стороны, во всем том, что писал царевич и что может для нас быть мерою его умственных дарований, не видим ничего, кроме самого дюжинного, повседневногo ума, узкой ограниченности и односторонности². Одобрительный отзыв о нем учителя Гюйсена, человека уклончивого, вообще имевшего в виду собственную карьеру и потому каравшегося угождать всем и не раздражать никого, не имеет для нас большого авторитета.

До ссылки матери царевич учился у Никифора Вяземского началу грамматики, а после удаления матери поступил под воспитательный надзор немца Нейгебауера. Этот немец был один из тех едимоземцев, которые, захавши в Россию, думали, что они находятся в сообществе

² Так, напр., г-н Погодин находит умными рассуждения, встречаемые в записках царевича по следующим случаям: священник, который на условном языке в письме царевича назван Коровою, искал места в Горицком монастыре. Царевич пишет, что он говорил тетушке о Корове, но лучше бы, чтоб Корова поднес челобитную горицкой братии и архиерею, и сам он, царевич, когда увидит архиерея, поговорит с ним, а нарочно посылать не следует, чтоб не докучать и не повредить любви с ним частными посылками. Здесь видна только трусость и больше ничего. Или, напр., что особенно умного в том, что царевич просил за какого-то Окунькова, к которому Бестужев за плутовство был немилостив? Или, напр., в письме из Дрездена к духовнику царевич извещает, что невеста царевича не хочет принять православия, но вместе надеется, что со временем это состоится, причем изъявляет такое избитое мудрование: «Всем больше надлежит положиться на волю Божию. Он многожды и мнящимся противными нам полезная устрояет и пр.».

К доказательствам ума царевича г-н Погодин причисляет и такую записку: «Что пишешь, радетьель, что будто я пашу к тебе отчаятельно о прибытии моем сими словами. Когда-де сие будет Бог весть, и сие мое слово отчаянию не подлежащее весьма, понеже весь живот наш и движение в руке Божией. То было бы отчаятельно как бы в волю Божию и с его изволения не положил я свое возвращение». Это указывает на набожность царевича, но, в сущности, не доказывает в нем большого ума, потому что подобные истины мог и глупец повторять, так как они были ходячими. Точно так же в письме от 17 сентября 1711 г.

совет, даваемый господину Засыпке помянуть Нова и Евстафия, указывает на чтение религиозных книг, а не на особенный ум. Доказательства ума царевича, приводимые г-ном Погодиным, могли быть состоятельны, если бы был поставлен вопрос: не был ли царевич такой идиот, что и пяти пальцев пересчитать не умел? Но его таким никто не считал.

существ низшего разряда и что их, немцев, призвание — очеловечивать эти существа. Он хотел быть чем-то важным в России, дразнил окружающих царевича русских людей и кончил тем, что раздражил самого Петра и должен был уехать за границу. По отъезде Нейгебауера у Петра явилось было намерение послать сына за границу; уже иностранные дворы наперерыв хотели достать эту добычу из видов приготовить для себя будущего союзника. Саксония, Пруссия, Австрия хотели взять русского царевича на воспитание. Но ни-

[8]

кому он не достался. Петр раздумал отправлять его в чужие края и приставил к нему в России воспитателя, другого иноземца, Гюйсена. Этот наставник хотел дать русскому наследнику легкое, показистое образование и начал с французского языка, намереваясь пройти с царевичем на этом языке руководства к разным наукам с тою целью, чтоб царевич мог в разговорах показать кое-какое знакомство с тем, что входило в круг образованности. Ученье прерывалось тем, что Петр, назвавши сына солдатом, брал его к себе на время в походы. В 1705 году Гюйсен был назначен на дипломатическое поприще, и царевич, живя в Преображенской слободе, оставлен был без надлежащего надзора; он продолжал учиться по-немецки, геометрии, фортификации, но по донесениям учителя его, Вяземского, учился слабо. Наблюдать над воспитанием царевича поручено было Меншикову, а Меншиков, живя в Петербурге, совсем не занимался своим питомцем, и некоторые правдоподобно догадывались, что Меншиков с намерением оставлял царевича на произвол самому себе, чтоб потом сделать его в глазах отца неспособным к наследству. Петр тогда уже сошелся с Екатериной, посредством которой Меншиков держался в милости царя и усиливался. Если Алексей из любви к несчастной матери не любил отца, ее гонителя и угнетателя, то и Петр не любил сына, который напоминал ему ненавистную жену, хотя он и признавал его своим наследником, но по нужде, оттого, что судьба по рождению готовила Алексея отцу в преемники на русском престоле в глазах всего мира. Петру нечем было заменить его. Своим суровым, грубым, чуждым отеческой ласки обращением Петр мог внушать сыну только страх и укоренить в нем зарожденную уже с детства нелюбовь к родителю.

В Москве царевич очутился в кругу людей, оуждавших деяния царя: и поступок с женой, и разорительную для народа шведскую войну, и построение Петербурга, и болезненное пристрастие Петра к морю, и любовь его к иноземцам, и враждебность к русской старине. Таких недовольных было в то время очень много на Руси, и, где бы царевич ни обретался, везде он встречал и слышал бы одно и то же. Петром недовольны были родовитые люди; ненавидело его духовенство, С. М. Соловьев справедливо заметил, что тогда недовольны были Петром не только какие-нибудь раскольники или, вообще, люди, не терпевшие и не допускавшие ровно никаких образовательных улучшений; к

недовольным принадлежали и такие люди, которые сознавали потребность учиться и учить детей своих, люди, пробужденные к умственной жизни киевским просвещением. Они вообще не были врагами образования Руси; но дорога, по которой шел Петр, была для них не по вкусу; в особенности тяжела, невыносима казалась им чрезвычайная подвижность Петра, его напряженная деятельность, которой он требовал от всех.

Прибавим к этому, со своей стороны, что собственно культурная идея не была до такой степени чужда русскому уму, как некоторые думали. Повторять с иностранцами, будто бы русский народ ненавидел образованность и вести его к просвещению можно было только страхом, насилием, или, как выражаются ученые немцы, просвещенным деспотизмом (*aufgeklärte Despotismus*), было бы клеветой на русский народ. Наглядным опровержением этой клеветы может служить то обстоятельство, что киевское просвещение могло же пробудить умственные потребности. Правда, оно породило раскол, но когда мы вникнем в причины упорства со стороны раскольников, то легко согласимся, что упорство это было порождено и развито деспотическими мерами, а не каким-либо прирожденным или закоренелым отвращением русского человека ко всякому умственному движению вперед. Киевское просвещение, конечно, было односторонним, но то была только та односторонность, чрез которую, по неизменным законам человеческого развития, проходило всякое умственно развивающееся общество; по крайней мере, киевское просвещение вносило за собой такие взгляды, которые должны были содействовать дальнейшему движению умственной жизни в России: люди, усвоившие себе это просвещение, считали полезным делом заведение школ, распространение грамотности, посылку молодых людей за границу для воспитания, изучение иностранных языков и введение в общественную и домашнюю жизнь иностранных приемов. Все это не только не оуждалось безусловно, напротив, многими одобрялось. Если на пути русского общества к образованности являлись действительно важные препятствия, то они истекали главным образом от предрассудков духовенства, поддерживаемых властью; русским прежде запрещали ездить по своей нужде за границу; русских преследовали за ученье, опасаясь ересей. Чтоб Русь образовать, нужно было сделать независимым мышление, свободным сообщение с Европой, дать простор жизни, позволить каждому устраивать свою судьбу; русским надобно было собственно «дозволять» просвещаться, а не принуждать их к просвещению насилием. Петр отрезывал русским бороды и старинное платье: такие меры удерживали бороды и старинное платье и сделали их принадлежностями мученичества; без этих мер, если бы царь только появился в европейском платье и за ним последовало несколько сановников, этого было бы достаточно; пример их подействовал бы на многих, и в короткое время, наверное, треть, если не половине Руси, обрила бы себе бороды и оделась по-европейски; точно так же, если бы русские узнали, что их

более не станут пытать огнем, бить кнутом, сажать в тюрьмы и ссылать по подозрениям в неправоверию, что сам царь посылает молодежь за границу и возвращающихся оттуда ласкает, дает почетные и выгодные места, то все мыслившее бросилось бы учиться, ездить за границу, усваивать понятия и взгляды, выработанные тогдашнею наукой, а вслед за тем и в России закипела бы умственная жизнь; культурные признаки сами собою входили бы в общественный и домашний быт; верховной власти оставалось не принуждать, не насиловать, а только позволять, поощрять и показывать всем пример и дорогу. Русский народ упирается, упорствует, увертывается, противодействует, большею частью страдательно, чем деятельно, когда хотят добиться от него известного направления его жизни путем страха и наказаний; и, напротив, русский народ пойдет по тому же самому направлению не только охотно, но с увлечением, если власть станет привлекать к нему собственным примером, поощрением, ласкою, убеждениями, не относясь слишком сурово к неизбежным, временным проявлениям нежелания идти по указанному пути и понимая, что человеческая природа требует времени, чтобы переломить в себе привычку к старому. Петр этого не уразумел: его горячая натура не хотела ждать и не терпела никакого противоречия. Для того чтобы ввести в России признаки европейской образованности, нужно было, с одной стороны, более или менее продолжительное время, а с другой — надобно было безбоязненно допустить внутри русского общества борьбу понятий, верований и взглядов, надобно было терпеливо и милостиво сносить противодействия образовательным мерам; зато достигнутое таким путем прочно привилось бы к России, вошло бы а ее плоть и кровь, выработало бы в ней нечто зрелое, своеобразное, самостоятельное, твер-

[9]

дое, здоровое. Но для такого образа действий не подготовило Петра ни воспитание, ни Европа, куда он ездил для самообучения; притом Петр и не поставил главной целью своей деятельности духовное просвещение народа. У него была цель — создать государство, которое бы не только не боялось нападений и в состоянии было бы от них отстоять себя, но само стало бы грозным для соседей, заставило бы их если не уважать себя, то опасаться своего материального могущества. Для этой цели нужно было войско и военные припасы, нужен был флот, нужно было море, а для того чтобы приобрести последнее, нужна была война; война же, по своему существу, не может допускать выжидания, а требует немедленной доставки многого такого, что в спокойное время достается продолжительным трудом. Всякая война влечет за собой чрезвычайные издержки, падающие всегда бременем на народную массу. Шведская война оказалась одной из упорнейших и тяжелых войн; издержки требовались за издержками, их должен был доставлять русский народ, выбиваясь из сил, разоряясь, страдать. Петру хотелось, чтоб у него немедленно делалось то, чего он захочет. Это качество особенно

является как бы прирожденным в тех государях, которые в детстве вступили на престол, почти не помнили себя ничем, как только государями, не были даже наследниками, не видели в своей стране никого выше себя по праву. Их стремления усиливались, если во времена детства этих государей бывали (а это действительно часто в таких обстоятельствах и случалось) смуты или бунты, незаконные поползновения, тем или другим путем клонившиеся к уничтожению или оскорблению верховного сана. Тогда с их наклонностями делать все непременно по-своему соединяется раздражительность, подозрительность, недоверие и заботливость предупредить все, похожее на сопротивление их воле, все, что напоминает им неприятные впечатления детства или отрочества. Такими и были при совершенно различных дарованиях Иван Васильевич Грозный, Людовик XIV, Петр Великий. Петр, в детстве почувствовавший на своей голове вдвойне законно данный ему (и по рождению, и по избранию) венец, перенес тяжкие унижения от мятежников, и они-то воспитали в нем то жестокосердие, с каким он относился ко всему, в чем видел малейшее противоречие своей воле. Петр считал себя одного умнее всех русских людей. Он смотрел на народ, как на ребятишек, которых следует взрослому учителю сечь, чтоб они учились. Такой взгляд был прямо высказан Петром в одном из его указов. Мало казалось того, что все должны были исполнять его приказания: все должны были желать того, что он желает, любить то, что ему нравится; иметь иной вкус, чем у него, — было уже преступление. Сам в высшей степени восприимчивый, переимчивый, деятельный, богатырски неутомимый, Петр хотел, чтобы все на него походило или старались приблизиться к нему, как к идеалу: все должны были чувствовать, думать, верить, как, он прикажет, а средствами к побуждению идти по такому пути были: кнут, пытки, вырывание ноздрей, насилия всякого рода, поборы, доходившие до налогов на гробы, ежегодная высылка солдат в Ливонию, Финляндию, Польшу, Германию, высылки работников, погибавших тысячами от трудов, непривычного климата, дурного содержания; насильственные переселения семейств в созданный царем «парадиз», о котором русские люди не говорили иначе, как с искренним желанием, чтоб этот «парадиз» провалился в свое болото; ко всем тягостям, падавшим на народ, прибавлялись еще обдирательства царских чиновников по прежде заведенным порядкам, но вдобавок усиление доношничества, получившего новую организацию в учреждении фискалов, созданных для преследования злоупотреблений и большею частью злоупотреблявших своим званием. Мы не станем отрицать высоты целей Петра, но меры, постоянно употребляемые для этих высоких целей, были ужасны; вся Русь находилась как будто на продолжительной виске, под беспрестанными ударами, все для того, чтобы преобразить ее в могучее европейское государство. Понятно, что при таких мерах недовольство овладевало не только грубыми, тупыми, закоснелыми сторонниками старинного невежества, но и людьми, уважавшими просвещение,

готовыми усвоить европейскую культуру и разделявшими вместе с Петром его конечные цели: известно, что люди, служившие ему в числе его сотрудников, как Дмитрий Михайлович Голицын, Борис Петрович Шереметев и многие другие, не разделяли всех его увлечений. Тем более неприязненно смотрели на эти увлечения те, которые не стояли на высоте государственной и общественной деятельности и с которыми сошелся тогда царевич.

Мы не знаем всех окружавших царевича и бывших с ним в соприкосновении; некоторых же знаем только по именам. Известно, что главными из близких к нему лиц в период его проживания в Москве или более в Преображенском были Нарышкины (Василий и Михаил Григорьевичи, Алексей и Иван Ивановичи), Вяземские (учитель Никифор, Сергей, Лев, Петр, Андрей), домоправитель Федор Еварлаков, муж царевичевой кормилицы Колычев, крутицкий владыка Иларион и несколько священников и монахов (духовник, верхоспасский священник, потом протопоп Яков Игнатьев, благовещенский ключарь Алексей, поп Леонтий и др.). Эти люди были друзья и собеседники царевича, вместе с ним молились, вместе веселились, вместе оуждали дела Петра, вместе охали над невзгодами своего времени. (Впоследствии очень близким и наиболее увлекавшим его вместе с собою в погибель был Александр Кикин.) В образе жизни царевича рано являются приемы те же, которые видны и в развлечениях Петра, устроившего около себя всепьянственнейший собор и дававшего своим собеседникам разные насмешливые клички. И у царевича приятельская компания называется собором, и его приятелям розданы были клички (отец Корова, отец Иуда, Ад, Жибанда, господин Засыпка, Захлюстка, Молох, Бритый, Грач и проч.). Они хвастались пьянством. «Мы вчера повеселились изрядно, — писал царевич к своему духовнику. — Отец мои, духовный Чиж чуть жив отошел до дому, поддержим сыном». В другом письме царевича к тому же духовнику Алексей Нарышкин сделал такую приписку: «Не оставь в молитвах своих меня и писанием, мы здесь зело в молитвенных подвигах пребываем; я уже третий день почитай не маливался и главный наш не умножает».

С ранних лет привык царевич таиться от родителя, быть осторожным, опасаться подсмотров и доносов. Его важнейшая тайна, которую он должен был скрывать, — было чувство к матери. Царевна Наталья, любимая сестра Петра, рожденная от единой с ним матери, донесла брату, что царевич ездил в Суздаль к матери. Петр потребовал сына к себе в Польшу, где сам находился с войском, и излил на него свой гнев. Можно понять, что такое обращение не поселило доверия и расположения сына к родителю. В другой раз сделал царь сыну гневное замечание за что-то, и царевич, чтобы смягчить озлобление родителя, прибежал к ходатайству близкой Петру особы. Но какой особы? Екатерины, заступившей место, принадлежавшее по праву матери Алексея, которая продолжала томиться в заключении. Само собой разумеется, царевич ненавидел в душе соперницу его матери и считал ее

своим врагом, в чем после и высказывался; но он должен был притворяться, унижаться пред ней. Екатерина

[10]

действительно выпросила прощение царевичу; Петру, конечно, было приятно, что сын обращается к ней с почтительными просьбами. Царевич после того должен был писать к Екатерине снова, благодарить за милости и просить на будущее время ее покровительства: «И впредь прошу, — выражал он, — не оставьте меня в каких прилучившихся случаях, в чем надеюсь на вашу милость». Такие события необходимо развивали в царевиче внутреннее огорчение, чувство безвыходной тягости своего положения в мире.

Не одни праздные развлечения наполняли, однако, время царевича. У него были вотчины, которых управлением он должен был заниматься. Отец поверял ему кое-какие государственные дела, требовавшие его отлучки из Москвы не на долгое время. За подписью царевича отправлялись указы, касавшиеся распоряжений по отысканию кроющихся от службы, городских рабов в Москве, военных действий против мятежников. В 1708 году Петр поверил ему набор рекрут в Смоленске; в 1709 году царевич привел отцу пять полков в Сумы. В исполнении этих поручений царевич не заявил себя ничем, что бы нам поясняло его ум и способности, тем более что это были такого рода дела, где и нельзя видеть: он ли сам действовал или другие за него.

Некоторые черты, относящиеся до времени его пребывания в Москве, показывают, что он тогда уже не был добросердечным простаком; напротив, в его характере проглядывали признаки грубой жестокости. В последующее время, припоминая житее его в Москве, духовник его писал ему: «А и в прежде бывшая времена и годы, егда присутствующу благородию твоему в Москве, многократно ты меня пугал и всячески излоблял и в некоем доме и за бороду меня драл... есть и другие от милостиваго наказания и побои изувечены и хричат кровью». Духовник читал царевичу поучения о том, что следует быть милостиву к подчиненным; следовательно, в таких поучениях нуждался царевич. Впоследствии учитель его Вяземский открывал, что царевич драл его за волосы, бил палкой, а, будучи за границей, одного певчего избил до крови. Эти черты поясняют, что такое в глубине своей натуры был царевич Алексей Петрович и чего можно было ожидать от него, если бы он был на престоле. Заметим, что человек, которого он драл за бороду, его духовник, был лицо самое уважаемое как им самим, так и всем кружком близких к нему людей.

Никто не имел на царевича такого нравственного влияния, как этот человек, и никому не оказывал царевич такого доверия уже потому, что он по своей обязанности был духовным руководителем его совести. Яков был уроженец Владимира, земляк и друг Досифея, находившегося потом в звании ростовского епископа и тогда показавшего себя ревностнейшим другом матери царевича. Яков более двадцати лет был в Москве —

сначала дьяконом, потом священником в Верхоспасском дворцовом соборе в Кремле. Умный, сметливый и энергичный, этот священник увидел возможность внушить царевичу то учение о безусловном подчинении мирского человека духовенству, которым некогда Сильвестр держал в руках несколько лет необузданного царя Ивана Васильевича и за которое, стараясь утвердить его силу в России, пострадал Никон. Впоследствии в 1714 году царевич, будучи за границей, рассердился на своего духовника за зятя последнего, который подвергся гневу царевича за злоупотребления по управлению его вотчинами; царевич написал духовнику колкое письмо. Духовник ответил ему припоминанием тех событий, которые некогда происходили между ними еще в те времена, когда царевич жил в Преображенском. «Помнишь ли, — писал Яков Игнатьев, — как некогда в Преображенском, в твоей спальне, пред лежащим на стольце Евангелием я спрашивал тебя: будешь ли заповеди Божия исполнять и предания апостольския хранить и меня отца твоего духовнаго почитать и за ангела Божия и за апостола имети и за судью дел своих, и хочеши ли меня слушати во всем, и веруеши ли, яко и аз еще и грешен есть, но такову же имам власть священства от Бога мне недостойному дарованную, что могу вязати и решити, якову власть даровал Христос апостолу Петру и прочим апостолам, глаголя: елице аще свяжеш на земли, будет связан на небеси, и хочеши смирения моего священству и власти во всем повиноватися и покорятися? И на сия вопрошения моя благородие твое пред св. Евангелием сице ответствовал: заповеди Божия и предания апостольския и святых его вся с радостию хочу творити и хранить и тебе отца моего духовнаго буду почитать и за ангела Божия и за апостола Христова и за судью дел своих чтити и священства твоего власти слушати и покорятися во всем должен». Ловкий поп был столько же добрым собеседником при испитии, сколько ревнителем церковной власти. На это указывают письма царевича из-за границы, где встречаются такие выражения — «истинно подливаем и вас сердечных любителей напоминаем» или «и на сие писание излитие вина было, дабы оное вас при приятии сего же прияти принудило, дабы вам благополучно жити и сильно питии». Веселый нрав, неотставание от кутежей, вероятно, помогали этому священнику поддерживать свое влияние на царевича и его кружок. Вообще, над святошами имеют наибольшее влияние те духовные, которые хотя и проповедуют строгий аскетизм, но позволяют себе вместе с своими духовными чадами некоторые выходки житейского либерализма, вроде, например, дружеского винопития. Иезуиты очень хорошо понимали эту черту, истекающую из свойств человеческой природы, и потому как с своей нравственной теории, так и в обращении со своими учениками отличались, с одной стороны, строгостью благочестивой практики, а с другой стороны, снисходительностью к разным приятностям земной жизни. Наш отец Яков умел, как видно, приковать к себе царевича, несмотря на грубые выходки последнего. Царевич, хотя под горячий час и давал волю своим рукам до того, что посягал на честную браду своего

«радетеля», а все-таки был суеверно привязан к нему более, чем к кому-нибудь. Разлучившись с ним поневоле, по случаю своей поездки за границу, совершенной по приказанию Петра, Алексей Петрович в 1710 году писал к Якову такие задушевные слова: «Не имею во всем Российском государстве такого друга и скорби о разлучении кроме вас. Бог свидетель... аще бы вам переселение от здешних к будущему случилось, то уже мне весьма в Российском государстве не желательно возвращение, паче же мне и оскорбление что вас не видети, где прежнее видел...» Главной нравственной связью царевича с этим лицом было то, что царевич открывал ему как духовнику свои заветные чувства к матери и нелюбовь к отцу. Кажется, священник служил отчасти посредником в сношениях между ним и матерью, насколько позволяла трусость царевича. По крайней мере, впоследствии царевич при допросе своем объяснил, что отец Яков давал ему, лет тому назад одиннадцать или двенадцать (следовательно, в 1707 или 1706 годах), письмо от матери, в котором она писала о здоровье и просила у сына милостыни. Царевич прибавлял, что он ему тогда же велел вперед не возить таких писем, и Яков более не доставлял их; но мы, однако, вправе не доверять слишком точной справедливости известий, сообщенных под страхом мук. Царевич (как показал также на допросе) своему духовнику сознался в том, что желает родительской смерти, а Яков отвечал

[11]

ему: «Бог тебя простит; и мы все желаем ему смерти для того, что в народе тягости много». Яков шевелил самолюбие царевича, сообщая ему, что в народе хвалят царевича, пьют за его здоровье, называют надеждой российской. На посредничество Якова в сношениях царевича с матерью указывает и то, что по отъезде своем за границу царевич, заботясь о безопасности своего духовного отца, убеждал его не ездить во Владимир: «Понеже смотрельщиков за вами много, чтобы из сей твоей поездки и мне не случилось какое зло».

Но если тягостно-зависимое положение царевича под гнетом сурового отца, вменявшего сыну в тяжкое преступление сношение с родной матерью, сближало царевича с духовными и подчиняло их влиянию, то из того никак не следует делать выводов, что учение о безусловном подчинении мирского человека церкви в лице духовенства, внедряемое в душу царевича отцом Яковым, осталось бы в этой душе непоколебимым и тогда, когда бы обстоятельства царевича изменились и особенно когда бы он стал государем. Через несколько лет, именно в 1714—1715 годах, когда долгая разлука ослабила силу прежних впечатлений, царевич поставил себя к своему бывшему духовнику в такие отношения, что духовник принужден был писать к нему вот какие строки: «Имевши мя не за ангела Божия, не за апостола Христова, не за судию дел твоих, но забыв свое обещание, сам меня судиши, называвши мя во твоем ныне ко мне писании любопристрастна, лживца, неправедна, чужим грехам потакателя и прорицавши мне от золотыя решетки, что в

верху у Спаса, на низ падение и яко Илии жерца хребта сокрушение». Из этих строк ясно, что если бы царевичу Алексею судьба дала взойти на русский престол, то он постарался бы освободиться и от отца Якова, и от всяких покушений на безусловные подчинения его царской воли церковной власти, подобно тому, как освободились цари московские: Иван от Сильвестра, а Алексей Михайлович от Никона.

Кроме отца Якова, на царевича Алексея должна была иметь значительное влияние тетка его, царевна Марья Алексеевна, у которой оставалась общая дочерям Марьи Ильинишны давняя вражда к сыну Натальи Кирилловны.

В этом-то кругу царевич, настроенный против отца естественным влечением к страдальце матери, воспитал в себе и укрепил враждебное чувство как к особе родителя, так и к его преобразовательным и завоевательным планам, которыми вообще недоволен был тогдашний народ русский.

В 1709 году, осенью, отец потребовал царевича к себе и отправил за границу вместе с сыном канцлера Головкина, Александром, и князем Юрием Трубецким. Для царевича с этих пор наступил другой период жизни. Неприветливо ему, как глубоко русскому человеку, показалось на чужой стороне, в особенности когда он увидел себя удаленным от привычных и любимых бесед с духовным чином, бесед о вере, о церковных делах, которые были так по сердцу русским людям, и, чувствуя в этом потребность, он просил духовника прислать к нему переодетого русского священника.

По воле отца, царевич отправился в Дрезден, где должен был учиться геометрии и фортификации. Путь его лежал через Польшу, и там он пробыл несколько месяцев. (В Кракове мы его застаем 19 декабря 1709, а в Варшаве — в марте 1710.) Царь, кроме учения, определил еще и женить сына непременно на иностранке; на русской царь ни за что не позволял ему жениться. Петр предоставлял ему свободу выбрать из иностранок себе жену по сердцу, но то была такая же свобода, как та, которую Петр предоставлял жене добровольно постричься.

Устроено было в Шланкенберге, близ Карлсбада, свидание царевича с принцессою Бланкенбургскою, внукою Брауншвейг-Вольфенбительского герцога Антона-Ульриха, Шарлоттою, родною сестрой супруги императора Карла VI. Мысль женить на ней сына зародилась у Петра еще ранее; 19 апреля 1711 года был подписан с обеих сторон брачный трактат. Придали этому вид, будто царевич избрал себе супругу добровольно; сам царевич писал к своему духовнику, что его давно уже сватали, на той принцессе, «однакож ему от батюшки не весьма было открыто», но когда он после того, как увидел ее, получил вопрос от родителя, хочет ли он вступить с ней в супружество, то, зная, что ему на русской жениться не дозволят, написал батюшке, «что когда его воля есть, чтоб мне быть на иноземке женатому, то я его волю согласую, чтоб меня женили на вышеписанной княжне, которую я уж увидел, и мне показалось, что она человек добр и лучше ея

здесь мне не сыскать». Эти одни строки показывают, какова была добрая воля, предоставленная царевичу в выборе жены. Он согласился жениться только оттого, что уже объявлена была воля царя, чтоб ему жениться на иноземке; царевич, кроме того, знал уже царское желание, чтоб он женился именно на этой, хотя ему «от батюшки и не весьма то было открыто»; понятно, что не для чего было ему пользоваться даруемым дозволением жениться на какой угодно; его могли заставить жениться на Шарлотте и после заявленного им нежелания, наконец, его могли женить на другой, но хуже Шарлотты — эту, по крайней мере, он видел, и она ему показалась «человек добр».

Что царевича женили тогда поневоле, всего лучше показывает отзыв деда невесты, герцога Антона-Ульриха: «Народ русский никак не хочет того супружества, — писал он, — видя, что не будет более входить в кровный союз с своим государем. Люди, имеющие влияние у принца, употребляют религиозныя внушения, чтоб заставить его порвать дело, или, по крайней мере, не допускать до заключения брака, протягивая время; они поддерживают в принце сильное отвращение ко всем нововведениям и внушают ему ненависть к иностранцам, которые, по их мнению, хотят владеть его высочеством посредством этого брака. Принц начинает ласково обходиться с госпожою Фюрстенберг и с принцессою Вейссенфельдскою не с тем, чтобы вступить с ними в обязательство, но только делая вид для царя-отца своего и употребляя последний способ к отсрочке: он просит у отца позволения посмотреть еще других принцесс, в надежде, что между тем представится случай уехать в Москву и тогда он уговорит отца, чтоб позволил ему взять жену из своего народа».

Таким образом, немецкая родня невесты Алексея очень хорошо знала, что его женят насильно, что Алексей как русский человек, верный национальным предрассудкам и поддерживаемый соотечественниками, отказывается от брака с немкою. Однако брак этот был совершен в Торгау 14 октября 1711 года по воле царя и в его присутствии.

Православную благочестивую душу царевича сильно беспокоило то, что жена его лютеранка и ему не представлялась возможность понудить ее к принятию православной веры.

В особенности совестно было ему пред духовником своим; в письме к нему царевич утешал и себя, и духовника надеждою, что, быть может, супруга со временем примет православие, когда приедет в русский край и сама все рассмотрит.

Напрасна была такого рода надежда. Шарлотта осталась немкою до мозга костей, а царевич, со своей стороны, по замечанию императорского посла в России Плейера, «не вывез из Германии немецкаго чувства и нрава».

[12]

Брак этот не был счастлив. После брачных пиршеств Петр послал царевича для собрания провианта в Польшу; там молодая чета прожила вместе с полгода, нуждаясь в деньгах, а потом, в апреле 1712 года, для

них настала довольно продолжительная разлука. Петр отправил сына в Померанию для военных действий; царевич оставил жену в Эльбинге. В октябре 1712 года Петр велел ей ехать в Петербург. Кронпринцесса пришла в ужас. «Мое положение, — писала она родителям, — гораздо печальнее и ужаснее, чем может представить чье-либо воображение. Я замужем за человеком, который меня не любил и теперь любит еще менее, чем когда-либо... царь ко мне милостив; его жена под рукой вредит мне всевозможным образом, ибо она ненавидит меня столько же, сколько мне приходится ее опасаться, т. е. более, чем можно себе вообразить». О русском народе, среди которого ей предстояло жить, она составила себе самое невыгодное мнение; внушали ей омерзение и русские понятия, и русское богослужение, и русская нечистоплотность, и русские нравы. «Не говорю уже о том, — писала она, — что лютеране в их глазах не много лучше самого дьявола — они столько их ненавидят и считают себя оскверненными их прикосновением; у нас полагают, что русские искренны и верны, но я могу уверить, что они лицемерны и вероломны...» К такому взгляду на круг, в который бросила судьба Шарлотту, присоединилось еще то обстоятельство, что служившие при ее дворе распустили слухи о двусмысленных отношениях кронпринцессы к одному молодому придворному (Плейницу), и эти слухи внушали подозрения даже родным Шарлотты. Все это было причиной, что, вместо поездки в Петербург, она под предлогом неимения денег уехала к отцу. Петр сердился. Не ранее как после происшедшего уже в феврале 1713 года свидания с Петром, Шарлотта отправилась в Петербург, а свиделась с супругом только в августе: до этого времени царевич осужден был на неприятный для него поход вместе с отцом в Финляндию.

Ко времени прибытия царевича в Петербург относится событие, чрезвычайно важное для уразумения личностей как царевича, так и его родителя. Петр хотел проэкзаменовать царевича, чтоб узнать, до какой степени он успел в геометрии и фортификации, и велел показать себе чертежи, сделанные царевичем.

Чертежи показать было можно, потому что можно было и чужие чертежи показать за свои, но тут на царевича напал страх: а что если царь велит при себе чертить? Царевич выстрелил себе из пистолета в ладонь правой руки, но пуля попала не в руку, а в стену; царевичу только опалило руку. Отец увидел обожженную руку и спросил; что это такое? Царевич как-то отолгался. «В этом поступке, — замечает С. М. Соловьев, — виден весь человек, напоминающий собою тех русских мужиков, которые увечат себя, чтоб не попасть в солдаты». Соглашаемся с замечанием достопочтенного историка, но прибавим к этому, с нашей стороны, что в этом поступке виден и отец, как в поступках русских мужиков, калечивших себя из-за того, чтобы не попасть в солдаты, видно также, что такое была солдатчина. Петр сам объясняет нам тогдашнее положение сына пред царственным отцом, когда в письме своем (врученном царевичу по смерти жены последнего) сознается, что он часто бранивал сына, да не только бранивал, но и бивал, а потом долгое время

не говорил с ним. Побои — вещь нелегкая и неприятная; они легко могут сбить с толку и заставить делать отчаянные глупости и природу более богатую умственными дарованиями, чем была природа царевича Алексея. По возвращении из финляндского похода Петр посылал царевича для наблюдения над постройкою судов в Ладогу, и с тех пор не видно, чтоб он поручал ему что-нибудь. С этих пор отец, как говорится, махнул рукою на сына и даже не хотел с ним говорить. Царевич жил в Петербурге с женою. Принцесса имела свой двор, окружена была исключительно немцами; между нею и Русью не образовалось ни малейшей связи. При ней постоянно была ее подруга, Юлиания Луиза фон Остфрисланд, особа, вооружавшая принцессу и против русских, и против мужа. Невыносимыми казались для немок грубые приемы жизни и обращения. Жизнь Шарлотты постоянно отравлялась разными огорчениями и лишениями. Деньги, которые следовало получать сообразно брачному контракту, выдавались ей неаккуратно и с затруднениями, а пожалованные ей имения в числе тысячи пятисот душ приносили мало дохода; крестьяне этих имений, как и вообще весь русский народ в те времена, были разорены тяжелыми казенными поборами и повинностями, так что приходилось их самих кормить и спасать от голода; принцесса постоянно нуждалась, не могла правильно платить своей немецкой прислуге и постоянно забирала в долг у купцов. С другой стороны, ей хотелось поправить расстроенные обстоятельства своих родителей, и она уступила им свое приданое в 20 000 р., сперва испросив на то согласие мужа, но потом, когда царевичу приходилось подписаться в получении этой суммы, которую, как уступленную матери кронпринцессы, получать на самом деле не следовало, царевич заупрямился, отрекался от своего обещания, наговорил жене колкостей и нанес ей глубокое огорчение. Кроме того, кронпринцесса поссорилась с сестрою царя, царевною Натальей, по поводу дома, занятого людьми кронпринцессы, из которого выгнал этих людей служивший у царевны хозяин дома Гедеонов. Кронпринцесса просила мужа заступиться за нее, а царевич, вероятно по трусости, боявшийся раздражать любимую его отцом тетку, не хотел вмешиваться в это дело; несогласие между супругами по этим поводам дошло до того, что царевич стал советовать ей уехать от него в Германию. «Если б я не была беременна, — писала Шарлотта своей матери, — то уехала бы в Германию и с удовольствием согласилась бы там питаться только хлебом и водою. Молю Бога, чтоб Он наставил меня своим духом, иначе отчаяние заставит меня совершить что-нибудь ужасное...» В письмах своих к сестре, императрице германской, Шарлотта, однако, скрывала свое горе и уверяла, что с нею обращаются хорошо, а впоследствии и свекор, и муж заявляли обвинения друг против друга в оскорблении принцессы. Петр после ее смерти объявил публично, что сын его дурно обращался с женою, а сын перед императором и его супругою объявлял, что отец обращается с женою, как со служанкою. Царевич, убегая сообщества немилой жены, по-прежнему проводил время со своими русскими приятелями и особенно любил

общество духовных, беседовал с ними о религиозных предметах, о разных видениях, которым от души верил, а также пьянствовал с ними, быть может, с горя, как русский человек. При строгом надзоре над ним и при своей трусости царевич не мог ни видаться с матерью, ни иметь с нею частых сношений. Впоследствии он признавался только в том, что во время пребывания в Петербурге сестра жены учителя его Вяземского, Марья Соловцова, передала ему от матери без всякого письма молитвенник, книжку, две чашечки чем водку пьют, четки и платок. И это уже было преступление, за которое несдобровать бы Соловцовой, если бы узнал об этом Петр. Потом царевич посылал матери два раза по несколько сот рублей через царевну Марью Алексеевну. В минуты откровенности, вызываемой излишним винопитием, царевич вы-

[13]

сказывал свои задушевные чувства и желания (как сообщил о нем камердинер его и как он сам подтвердил справедливость слов камердинера). «Вот, — говорил он, — чертовку мне жену навязали! Как к ней приду, все сердитует, не хочет со мной говорить! Все этот Головкин с детьми! Разве умру, то ему не заплачу и сыну его Александру: голове его быть на коле, и Трубецкому... они к батюшке писали, чтоб на ней мне жениться». Не только с этими лицами, содействовавшими, как видно, его браку с Шарлоттою, но и с другими, которых он считал своими недругами, собирался разделаться со временем царевич; на кого он только злился, того в пьяном виде грозил со временем посадить на колья. «Для чего, — замечали ему, — ты так говоришь? Подслушают». «Я плюю на всех, — говорил пьяный царевич, — была бы мне чернь здорова; когда время будет без батюшки, я шепну архиереям, архиереи священникам, священники прихожанам, — так они и не хотя меня властителем учинят!» Отрезвившись, царевич, чтоб поправить свою откровенность, старался снять со своих слов характер истины. «Кто пьян не живет? — говорил он. — У пьяного всегда много лишних слов». Но что у трезвого на уме, то у пьяного на языке — гласит справедливая русская пословица. Слова, произнесенные этим чисто русским человеком в пьяном виде, без сомнения, облеклись бы в дело, да еще, вероятно, и в преувеличенном виде, если бы достиг престола этот русский человек, который еще в юности драл за бороду своего уважаемого духовного наставника и колотил подчиненных до того, что они харкали кровью. Петербург был для него ненавистен, и он утешался надеждою, что его отнимут у России. Когда его звали на какой-нибудь парадный обед у государя или у князя Меншикова или на спуск корабля, он говаривал: «Лучше бы мне на каторге быть или в лихорадке лежать, чем туда идти!»

Тяжелое нравственное состояние надломило здоровье царевича. В 1714 году царевича отпустили в Карлсбад для лечения. Ему так стало тяжело в России, что мысль о необходимости возвращения заранее уже томила его. Был у него в это время близким человеком Александр Кикин; прежде любимец Петра, Кикин навлек на себя опалу государя и хотя был

прощен, но уже не вошел в прежнюю доверенность; он сблизился с царевичем. «Царевич, — говорил он ему, — пробудь за границую подолее; хоть и вылечишься, так отцу пиши, что надобно тебе еще лечиться; поедешь в Голландию, а там, после вешняго курса, в Италию, и так отлучение свое можешь продолжать года на два или на три».

Царевич, оставив в Петербурге беременную супругу, уехал в Германию, лечился в Карлсбаде, занимался там чтением церковной истории Барония и делал из ней выписки, любопытные потому, что показывают, какие вопросы занимали этого человека. Все это касалось обрядов, церковной дисциплины, спорных пунктов между восточной и западной церковью; при этом царевич делал собственные замечания в пользу восточной церкви, и особенно останавливался на чудесах: одним чудесам оказывал он совершенное доверие, некоторые, исключительно римско-католического изобретения, отвергал, а о некоторых отзывался с наивным сожалением, склоняясь, однако, более к признанию их исторической справедливости, чем к отрицанию (напр., «грады Сирии в тресении земли на шесть миль перенесли с людьми и ограждением: будет правда, то чудо воистину!»). Такие заметки, делавшие бы честь дедушке Алексея, тишайшему Алексею Михайловичу, шли вразрез с тем, что могло занимать отца Алексеева, и не только последнего, но и вообще передовых людей его эпохи. Из оставшейся после царевича приходорасходной книги видно, что он покупал себе книги, но также большею частью такие, которые относились к религии или церковной истории, напр., «богемский мартирологиум; животы святых богемских; животы святых Рибоденьера; животы святых немецких; Томас Акемпиз, о чудесах Божиих; Бернарда об истинной правде, Дрекселия о вечности; книга манны небесной...» Исключения составляли так называемые «смешные книги, в имя им Ларим, Лаврум, Ларисимум»; к этому разряду следует отнести «Колокольчик, О рождении жен, Фабелькопф, Езоповы басни...», значащиеся по приходорасходной книге царевича. Такие забавные книги и прежде составляли развлечение русских грамотеев, устававших от серьезного чтения, каким считалось преимущественно чтение религиозных и церковноисторических книг.

Во время пребывания царевича за границую, царь показал к своей беременной невестке такие образчики обращения, которые несколько подтверждают жалобы Алексея насчет дурных отношений его отца к его жене. Когда Шарлотте приближалось время родить, Петр приставил к ней посторонних лиц женского пола; кронпринцесса этим очень оскорбилась. Поводом к такому поступку Петр выставял то, что «отлучение супруга ея принуждает его к этому, дабы предварить лаятельство необузданных языков». Это остается непонятным. Нельзя предположить, чтобы Петр поступал так потому, что возникали какие-нибудь подозрения насчет неверности кронпринцессы своему супругу; в таком случае принятые меры не имели смысла; скорее, можно подозревать, что Петр боялся, чтоб не подменили ребенка и вместо

дочери не подставили сына. Шарлотта родила дочь; Петр стал с нею очень ласков.

Алексей на этот раз не исполнил совета Кикина. Из Карлсбада, находясь а раздумье, он писал к Кикину, спрашивал еще раз его совета. Кикин боялся писать ему прямо, советовал покоряться отцу, во всем его спрашиваться и только прибавил: «Ты своего дела не забывай». Кикин надеялся, что царевич; поймет смысл того выражения, но царевич не понял и воротился в Петербург. Будучи в отечестве, он тосковал и, выпивши, говорил ближним: «Быть мне пострижену, коли не при отце, так после него постригут меня, как Василия Шуйскаго, и куда-нибудь в полон отдадут. Мое житье плохое!..»

«Что это значит, чтоб я дела своего не забывал?»— спрашивал царевич Кикина, напоминая о письме, посланном последним к царевичу за границу. «Можно! было бы догадаться самому, — сказал Кикин. — Напрасно ты не повидался ни с кем от французского двора, король — человек великодушный, он королей под своей протекцией держит, и тебя-де ему не великое дело продержать».

Вслед за тем кронпринцесса Шарлотта стала снова беременною, но и царица Екатерина, жена Петра, была также беременна. Октября 12-го родила крон-принцесса сына Петра, а через десять дней скончалась.

Императорский посол Плейер, бывший тогда в Петербурге и близко знавший обстоятельства того времени, положительно сообщает, что смерти Шарлотты способствовали большие огорчения, которые она переносила в России.

Еще до своего разрешения от бремени, она предсказывала свой конец, а после разрешения, которое совершилось довольно легко, с досадой слушала поздравления и желания здоровья, говорила, что лучше было бы, если бы вместо этих желаний молились Богу о кончине ее; она узнала, что царице досадно, зачем у жены наследника родился на свет сын, царица хочет ее тайно преследовать; и это повергало Шарлотту в отчаяние. Она нарочно требовала себе из пищи и питья того, что запрещалось

[14]

врачами, называла докторов, пользовавших ее, палачами, говорила, что они своими лекарствами только мучат ее, так как она хочет умереть. Правда, кронпринцесса пред смертью писала к царю письмо, исполненное благодарности, а своему гофмаршалу Левенвольду поручила донести ее родным, что она, пребывая в России, всегда была довольна, что со стороны государя не только все было исполнено по брачному контракту, но еще и сверх того оказаны были ей различные милости; но такие предсмертные, заявления женщины благочестивой, помнившей евангельскую заповедь о прощении оскорблений, и притом матери, боявшейся за судьбу детей своих, не уничтожают исторической силы донесений Плейера, подтверждаемых и словами царевича, и

письмами самой кронпринцессы к родителям, и, наконец, соображениями о тогдашних обстоятельствах.

Кронпринцессу похоронили в Петропавловском соборе чрез шесть дней после ее смерти, 27 апреля (октября.—Ред.). По возвращении в дом царевича, где должно было происходить поминовение по усопшей, царь вручил царевичу публично письмо.

Письмо это было подписано 11 октября из Шлиссельбурга, следовательно, за 16 дней до его отдачи, накануне рождения у царевича сына. В этом письме царь выставил на вид неспособность царевича к престолу, вспоминал, что он его уже и бранил, и бил, и несколько лет не говорил с ним, но все напрасно. Царь грозил лишить сына наследства, если он нелицемерно не исправится. «Не мни себе, — говорилось в конце письма, — что один ты у меня сын и что я сие только в устрастку пишу: во истину (Богу извольшу) исполню, ибо за мое отечество и люди живота своего не жалел и не жалею, то како могу тебя непотребнаго пожалеть? Лучше будь чужой добрый, неже свой непотребный».

Главным недостатком царевича, делавшим его в глазах отца неспособным к правлению государством, было нерасположение Алексея к военным занятиям: «Паче же всего о воинском деле ниже слышать хочешь, чем мы от тьмы к свету вышли, и которых не знали на свете, ныне почитают. Я не научаю, чтоб охоч был воевать без законныя причины, но любить сие дело и всею возможностью снабдевать и учить...» Петр приводит, с одной стороны, пример греческой монархии, которая, по его мнению, пропала от того, что греки «оружие оставили и, единым миролюбием побеждены и желая жить в покое, всегда неприятелю уступали», а с другой — достойный подражания, по его мнению, пример Людовика XIV. «Думаешь, что многие не ходят сами на войну, а дела правятся. Правда, хотя не ходят, но охоту имеют, как и умерший король французский, который не много на войне сам бывал, но какую охоту великую имел к тому и какие славные дела показал в войне, что его войну театром и школою света называли!..»

Здесь-то высказал Петр вполне постановку военного дела и внешней обороны государства на первый план во всей своей преобразовательной государственной деятельности, определившую на грядущие времена характер русской истории, двинутой на новую колею Петровской эпохой. Тот же взгляд проявился у Петра и при торжестве по поводу Ништадтского мира, когда поднесли ему от сената новые титулы «Императора, Петра Великого и Отца Отечества». Он сказал: «Должны всеми силами благодарить Бога, но, надеясь на мир, не ослабевать в военном деле, дабы не иметь жребия монархии греческой»³.

³ Нельзя не согласиться с верностью и справедливостью этого взгляда при господстве в Европе ложных, эгоистических, *противохристианских* оснований государственной политики, когда думали, что каждое государственное тело должно основывать свою силу на слабости других, когда государственной мудростью считалось уметь всеми силами сделать побольше зла соседям.

Что значило то обстоятельство, что Петр дал сыну 27 октября письмо, написанное, по-видимому, за шестнадцать дней до отдачи этого письма в те руки, в которые было назначено отдать его? Историки наши долго не задавали этого вопроса. Первый, сколько нам известно, г-н Погодин задал его для исторической науки и попытался разрешить довольно удачно (в статье «Суд над царевичем» — Рус. Беседа. 1860 г. Кн. 12). Письмо подписано задним числом. Петр давно уже подумывал отрешить сына от престола. Ему желательно было бы вместо нелюбимого сына Евдокии передать престол детям Екатерины. Пока не было детей мужеского пола ни у Екатерины, ни у Алексея, Петр медлил. Но у Алексея родился сын. Из свидетельства современника Плейера видно, что Екатерине настолько причиняло досаду это событие, что ее досаду могли заметить. Неприятно было это и Петру, слишком привязанному к Екатерине. Пока кронпринцесса была жива, и притом больна, Петр не решался бросить свои громы на царевича — это было бы чересчур жестоко и бесчеловечно по отношению к матери, так как смысл данного царевичу письма явно показал бы ей, что ее новорожденный сын лишается своего права. Но кронпринцесса умерла, тогда Петр составил или велел составить это письмо и вручил царевичу. Нужно было соблюсти «анштальт», как говорилось в то время. Для того-то Петр подписал свое письмо задним числом, до рождения внука, иначе бы сразу показалось, что царь осердился на сына, в сущности, за то, что у этого сына родился наследник. С другой стороны, не надобно было медлить: Екатерина не сегодня завтра готовилась родить; она могла родить сына: тогда опять дело бы имело такой вид, что Петр поражает своего сына от нелюбимой жены только потому, что у него родился сын от любимой, и тогда бы он не мог выразиться в своем письме: «...не думай, что ты один у меня сын»; неуместно было бы сказать и в конце письма: «Лучше будь чужой добрый, чем свой непотребный». Теперь анштальт был соблюден, хотя и шит белыми нитками. Письмо подано было царевичу тогда, когда у царевича был уже сын. Если бы Петр не имел намерения лишить внука престола, зачем же было давать сыну такое письмо, которое будто бы написано до рождения внука? Тогда можно было бы прежнее письмо переписать и изменить сообразно текущим событиям. Вот это обстоятельство, по нашему мнению, всего более лишает нас возможности объяснить подачу письма иным способом, как ее объяснил г-н Погодин.

Недовольство Петра появлением на свет мужеской отрасли своего сына совпадает и с теми предосторожностями, каким подвергалась Шарлотта при первых своих родах. Тогда Шарлотта родила дочь, и Петр успокоился; теперь она родила сына, и Петру было это не по сердцу. Екатерина вооружала его против Алексея. Приближенные Петра также действовали на него. Вероятно, слова, произносимые царевичем в пьяном виде, не оставались неизвестными; люди, близкие к Петру, а Меншиков в особенности, должны были помышлять о целостности своих голов.

На другой день после отдачи письма царевичу Екатерина родила сына Петра. Говорили после, что царевич, узнав об этом, сильно

запечалился; и было от чего, особенно после полученного им накануне отцовского письма! Царевич прежде всего обратился к своим близким друзьям — Кикину и Вяземскому.

«Напрасно не отъехал, — сказал Кикин, припомнивши царевичу свой прежний совет, — да уж взять того негде! Теперь тебе покой будет, когда от всего отстанешь, лишь бы только так сделали!»

«Волен Бог да корона (т. е. носящий корону), — сказал Вяземский, — лишь бы покой был».

Царевич обратился после того к людям сильным, близким к отцу, адмиралу Апраксину и к князю

[15]

Василию Владимировичу Долгорукову. Он сознавался в своей неспособности к правлению, просил уговорить царя отпустить его в деревню на житье. Царевич готовился послать царю письменный ответ на его письмо. При этом князь Василий Владимирович Долгорукий сказал такие двусмысленные слова, совершенно в духе старомосковского остроумия, выработанного долговременным страхом под произволом властей:

«Давай писем хоть тысячу, еще когда-то будет! Старая пословица: Улита едет, коли-то будет; это не запись с неустойкою, как мы преж сего меж себя давали».

Хитрый боярин дал понять, что, по его соображениям, как ни вывертывайся царевич, а участь его решена.

Царевич через три дня после получения отцовского письма послал царю ответ: он сознавался, что «памяти весьма лишен и всеми силами умными и телесными от различных болезней ослабел и непотребен стал к толикаго народа правлению, где требует человека не такого гнилаго как он». Царевич отрекался от наследия, указывая на то, что у него «слава Богу брат есть, царевич Петр, которому дай Боже здравие», призывал в свидетели Бога на душу свою в том, что не претендует и претендовать не будет на корону.

Письмо было написано в угоду Петра; видна подделка под его образ мыслей, его взгляды и способы выражения. Царевич мог, по-видимому, быть покоен: все им сделано!

Он спрашивал у Василия Владимировича Долгорукова, приехавшего к нему царским именем, как принял государь его ответ?

«Чаю, лишит наследства и, кажется, доволен», — сказал Долгорукий, но вместе с тем прибавил с прежним своим старомосковским остроумием: — Я тебя у отца с плахи снял. Теперь ты радуйся, дела тебе ни до чего не будет!»

Петр вслед за тем заболел. Говорили, что он заболел опасно, исповедовался, причащался. Александр Кикин сказал по этому поводу царевичу: «Отец твой не болен тяжело; он исповедается и причащается нарочно, являя людям, что он гораздо болен, а все притвор; а что причащается — у него закон на свою статью».

Проверить справедливость догадки Кикина мы не в состоянии, но замечательно, во всяком случае, какой взгляд составил о Петре между людьми, знавшими его.

Петр выздоровел. 19 января 1716 года царевич получил от отца новое письмо. Царь гневался на сына, зачем он в своем ответе к отцу писал только о слабости телесной, а не отвечал насчет своей негодности... Это была со стороны Петра придирка; царевич в своем письме положительно признал себя лишенным «памяти и сил умных». Но причины, которые не позволили Петру удовольствоваться простым отречением от наследства, выражены в новом письме совершенно здраво и прямо: «О наследстве воспоминаешь и кладешь на мою волю то, что всегда и без того у меня... что же приносишь клятву, тому верить невозможно для вышеписанного жестокосердья. К тому ж и Давидово слово: всяк человек ложь. Также хотяб и истинно хотел хранить, то возмогут тебя склонить и принудить большия бороды, которыя, ради тунеядства своего, ныне не в авантаже обретаются, к которым ты и ныне склонен зело».

Наконец отец дал ему на выбор что-нибудь одно: «Или отмени свой нрав и неліцемерно удостой себя наследником, или будь монах... дай немедленно ответ, или на письме, или самому мне на словах резолюцию. А буде того не учинишь, то я с тобою как с злодеем поступлю».

Царевич стал советоваться со своими друзьями, что теперь ему делать?

«Постригайся, царевич, — сказал Кикин, — ведь клобук не прибит к голове гвоздем: можно его и снять... а впредь что будет, кто ведает». Эту остроту говорил Кикин царевичу и еще раньше того времени.

«Когда иной дороги нет, — сказал царевичу Никифор Вяземский, — то иди в монастырь; да пошли по отца духовнаго и скажи ему, что ты принужден идти в монастырь, чтоб он ведал; он может и архиерею рязанскому (Стефану Яворскому) сказать, чтоб ведали, что ты ни за какую вину пошел в монастырь».

Друзья, значит, советовали ему идти в монастырь, но с тем, чтобы иметь возможность из него выйти, когда придут новые времена.

Царевич отписал царю, коротко выразивши свое решение в таких словах: «Желаю монашескаго чина и прошу о сем милостиваго позволения».

Вслед за тем он писал своему прежнему московскому духовнику «радетелю» Якову, что по принуждению идет в монастырь, и стал распорядиться своим имуществом. Тогда у него была любовница, бывшая крепостная девушка Вяземского, Евфросинья Федорова. Манифест Петра, обвиняющий царевича, говорит, что еще при жизни Шарлотты царевич сошелся с нею. Это и вероятно, так как со времени смерти Шарлотты прошло только около трех месяцев, а уж царевич показывал к этой девушке такую привязанность, которая указывала на более или менее продолжительную связь его с нею; собираясь в монастырь, он более всего заботился о ее судьбе и поручил ей отдать письма Якову Игнатьевичу и

брату Александра Никитина, Ивану; в письмах просил обеспечить ее деньгами.

Но Петр также понимал, что «клубок не гвоздем к голове прибит». Не продолжая переписки, Петр чрез неделю приехал к сыну, когда сын был болен. Царевич на словах повторил отцу, что желает постричься.

«Это молодому человеку не легко, — сказал Петр, — одумайся, не спеши. Подожди полгода».

Петр уехал за границу, приказавши царевичу обдумать свое положение, и, обдумавши, дать отцу окончательное решение.

Все обстоятельства этого дела до сих пор показывают, что царь был в каком-то колебании, вероятно, возбуждаемый против царевича влиянием близких лиц и в то же время удерживаемый от каких-нибудь решительных жестоких мер и отеческим чувством, и уважением к законному анштату, который он соблюдал прежде и с Евдокией, побуждавши ее долгое время вступить добровольно в монастырь, как бы избегая необходимости употребить насильственные меры, признавая их неизбежными только тогда, когда более кроткие не удавались. И с царевичем слагалось что-то в том же виде. Царевич с шагу на шаг доходил до безвыходного положения. Слыша отзыв отца о своем недостойности, он беспрестанно отрекается от наследства. Петру этого недовольно, потому что чуткий ум Петра видит неискренность. Петр требует или изменить свой нрав, или идти в монахи. Сын решается идти в монахи, следовательно, поступает сообразно воле родителя; но отцу этого недовольно. Если бы Алексей был вроде сына Грозного, царя Федора Ивановича, или вроде брата Петрова Иоанна, быть может, Петр и удовольствовался бы добровольным пострижением Алексея, но Петр недаром писал сыну в письме: ты разума не лишен. Петр видел в сыне не просто неспособного по умственным силам, он видел в нем не более, не менее как врага своей жены Екатерины, своих детей, своих приближенных и сотрудников, всего, наконец, своего дела. И таким врагом, конечно, Алек-

[16]

сей был... Петр понимал, что после его смерти Алексей тотчас снял бы клубок, надетый по принуждению, возложил бы на себя корону, добровольно уступленную, и принялся бы истреблять, уничтожать и ломать все петровское и людей, ему помогавших, им воспитанных, и плоды дел его. Петр в нерешимости выжидал, что далее будет. Его разнообразные хлопоты не давали ему сосредоточиться на одной мысли о сыне; но он не мог успокоиться на объявленном решении сына, не мог довериться обещаниям царевича. Петр требует от сына отмены нрава или исправления, требует того, во что едва ли сам верит?.. В искренности такого требования мы вправе сомневаться. Во-первых, если Петр считал то возможным, то зачем оставлял бы своего сына перед тем без внимания до такой степени, что не говорил с ним несколько лет, как в том сознавался сам в своем письме к сыну? Во-вторых, тогда незачем было

ему в настоящее время, уезжая за границу, оставлять сына в Петербурге, Находя неуместным его согласие идти в монастырь и допуская надежду, что сын может исправиться, Петру всего подручнее было взять сына с собою, чтобы испытать на деле, может ли сын изменить свой нрав и сделаться достойным престола. Мы не допускаем такого черного подозрения, чтобы Петр заранее хотел довести сына до трагического конца, какой постиг несчастного Алексея; но, кажется, решивши уж в своем уме, что сыну не царствовать, Петр тогда сам для себя не решил еще, как ему с сыном поступить. Иначе нельзя объяснить его тогдашних поступков.

Оставшись в Петербурге, царевич был пугаем разными слухами и внушениями. Кикин сообщил ему, будто князь Василий Долгорукий давал такие соображения и советы царю: «Если царевича постригут, то царевич долго будет жить, а лучше таскать его с собой, так он от волокиты умрет, не в силах будучи снести труда». Другие шептали царевичу, что Меншиков и царица хотят его тайно свести со света. Кикин отправился за границу с царевной Марьей Алексеевной и обещал высмотреть лучшее убежище для царевича. Суеверный до крайности, царевич тешил себя надеждами на скорые перемены, предвещаемые разными видениями и откровениями, которые побуждали ожидать то смерти государя, то освобождения матери царевича. Сибирский царевич в марте 1716 года говорил ему: «Перваго числа апреля будет перемена: либо твой отец умрет, либо Петербург разорится; я во сне видел!» Пришло первое апреля. Царевич русский не дождался предсказанной сибирским царевичем перемены, а сибирский увертывался так: «Я говорил только перваго апреля, а не сказал, что именно этого года». Никифор Вяземский сообщил Алексею слышанные пророчества о том, что Петру жить только пять лет, а рожденному от Екатерины сыну, Петру, семь лет и т. п.

В августе 1717 года приехал из-за границы курьер и привез царевичу грозное письмо отцовское. Царь предоставлял ему на выбор что-нибудь одно из двух: или ехать к нему, не мешкавши более недели, или вступить в монастырь, и в последнем случае приказывал уведомить — куда поступит, в какое время и в какой день. Царь подтверждал, чтобы на этот раз «сие конечно учинено было». Захваченный отцом врасплох в Петербурге, царевич сразу поддался было на избрание для себя монашеского клобука в надежде, что клобук не гвоздем к голове прибивается; иначе ему тогда никакого спасения не было; он был в руках отца; теперь обстоятельства были иные: отец, вызывая сына за границу, сам неволью показывал ему дорогу к бегству. Мысль о побеге давно уже гнездилась в голове царевича; теперь она уже окончательно окрепла. Царевич, получивши письмо отца, собрался даже ранее срока, назначенного в письме.

Одна забота тяготила его: что делать со своей любовницей Евфросиньей. Царевич открылся своему камердинеру, Ивану Большому Афанасьеву, что едет не к батюшке, а куда-нибудь в иное место, либо к цезарю, либо в Рим; царевич доверил камердинеру и то, что Кикин

поехал проведывать убежище. Камердинер отнесся к этому не совсем одобрительно⁴, но обещал хранить тайну. «Я от батюшки не чаял присылки, — продолжал царевич, — а теперь вижу я, что мне путь правит Бог. А се и сон я видел ныне, будто я церкви строю: это значат, что мне путь достоин».

Царевич взял у Меншикова тысячу червонных, а другую тысячу от сената. Меншиков, прощаясь с царевичем, спросил: «Где же ты оставляешь Евфросинью?» — «Я возьму ее с собою до Риги, а потом отпущу в Петербург».

«Возьми ее лучше с собою», — сказал Меншиков.

Вероятно, этот совет давался с коварною целью подвести царевича под гнев отца. Петру, наверное, не слишком было бы приятно, если бы сын приехал к нему с Евфросиньей, тем более, что царевич не на шутку стал привязываться к этой женщине и уже подумывал на ней жениться. Денежных средств у царевича было не слишком много, но перед отъездом он дал пятьсот рублей Федору Дубровскому для передачи матери, вероятно, соображая, что, уехавши за границу, не скоро будет иметь возможность оказывать ей помощь.

Царевич выехал с Евфросиньей, с ее братом Иваном Федоровым и с тремя служителями. В Риге он занял у обер-комиссара Исаева 5000 червонных и 2000 мелкими деньгами.

Проезжая из Риги Либаву, царевич встретился на дороге с царевною Марьею Алексеевною, возвращавшеюся из Карлсбада. Царевич вошел к ней в карету для беседы. Он только вполтину открыл ей свой умысел.

«Еду к батюшке, — говорил он, — да не знаю, буду ли угоден. Я себя чуть знаю от горести. Рад бы куда скрыться».

Царевич заплакал.

«Куда же тебе от отца уйти, — сказала царевна, — тебя везде найдут!.. А мать зачем забыл, не пишешь и не посылаешь ничего? Послал ли ты ей чтонибудь после того, как чрез меня была посылка?»

Царевич сообщил ей о последней посылке с Дубровским.

«А письмо написал?»

«Я писать опасуюсь», — сказал Алексей.

«А что, — заметила царевна, — хотя б тебе и пострадать, так бы нет ничего; ведь это за мать, не за кого иного».

«Что в том прибыли, что мне беда будет, а ей пользы из того не будет ничего. Жива ли она или нет».

«Жива, — сказала царевна, — ей было откровение, и другим было также: ростовскому архиерею Досифею... что отец твой опять возьмет ее к себе и дети у них будут, а станется это таким образом: будет отец твой болен, и, во время болезни его, будет некое смятение, и приедет отец твой в Троицкий Сергиев монастырь на Сергиеву память, и мать твоя

⁴ — Воля твоя, государь, только я тебе не советник, — сказал камердинер.

— Для чего?

— Потому что, как удастся, то хорошо, а когда не удастся, тогда ты на меня будешь гневаться.

будет тут же, и отец твой исцелет от болезни, и возьмет ее к себе, и смятение утишится!..»

Подобные поэтические мечтания были в духе старой Руси. При этом, верная родной Москве, царевна прибавила: «А Питербурх не устоит за нами: быть ему пусто; многие о сем говорят...» Царевна заставила царевича написать матери хотя маленькое письмо. Царевич на этот раз пересилил свою трусость,

[17]

так как думал бежать; он уже не боялся отцовского гнева за написание письма к опальной матери и написал: «Матушка государыня, здравствуй, пожалуй, не оставь в молитвах своих меня!..»

«Повидайся с Кикиным, — сказала царевна, — он в Либаве и хочет тебя видеть!» Царевич приехал в Либаву, отыскал Кикина.

«Ну что, — спрашивал он, — нашел ты мне место?»

«Нашел, — сказал Кикин, — в Вене. Поезжай туда, цезарь тебя не выдаст. Мне сказывал Веселовский, что при дворе его спрашивали, за что тебя лишают наследства? А я ему сказал: ведаешь сам, его не любят; чаю для того больше, а не для чего иного. Я уверился, что Веселовский не намерен возвращаться в отечество, и стал с ним смелее, и спросил: ну, а как царевич сюда приедет, примут его? Веселовский мне отвечал: а поговорю с вице-канцлером Шенборном, он ко мне добр. По несколько времени, он мне сказал: я говорил с Шенборном, и он у цезаря спрашивал в разговоре, и цезарь сказал, что он примет его, как сына своего, и даст ему три тысячи гульденов на месяц».

Впоследствии, хотя Кикин отрекался от справедливости своих слов об участии Веселовского и Веселовский, как увидим, действовал в поимке царевича в видах царя, но слова, сказанные Кикиным в Либаве о Веселовском, могут быть, хотя до некоторой степени, справедливы, так как Кикин говорил при этом, что Веселовский не думает возвратиться в отечество, а это действительно случилось с Веселовским; очевидно, Кикин был близок с Веселовским, когда знал его такие намерения, которые Веселовский не мог бы открывать никому, кроме тех, к кому имел большое доверие.

Царевич рассказал Кикину обстоятельства своего выезда из Петербурга, сообщил, что открывал о своем намерении камердинеру.

«Пиши к нему, чтоб ехал к тебе, — сказал Кикин, — только я да он знают; на меня подозрения не будет, потому что я в Петербурге не был, а будет Иван в Петербурге, будет то небезопасно, чтоб не промолвился с кем!»

Царевич сообщил Кикину, что когда он прощался с сенаторами, то князь Василий был особенно к нему ласков, а Меншиков присоветовал ему взять с собою Евфросинью.

«Пиши к Василию Долгорукову, — сказал Кикин, — будет ли на меня суспет о твоём побеге, я покажу письмо твоё Долгорукову и скажу: знать царевич с ним советывал, что его благодарит; я сие письмо перенял. И к

Меншикову напиши, благодари, что присоветывал девку взять с собою; может быть, князь покажет письмо твоему отцу, и он будет иметь о нем суспет».

Царевич сделал так, как советовал Кикин, и отправился в Вену, приняв вымышленное имя польского подполковника Коханского.

В Вене 21 ноября (по стар. стил.), после десяти часов вечера, офицер, выходя с письмами, следуемыми для отправки на почту, из квартиры вице-канцлера Шенборна, находившейся при дворце, наткнулся на неизвестного человека, шедшего по лестнице в больших сапогах. Незнакомец на ломаном немецко-французском языке требовал немедленного допущения к вице-канцлеру. Ему сказали, что если дело, то он может явиться утром в 7 часов, в канцелярию, потому что вице-канцлер теперь хочет спать. Незнакомец ломился в дверь и требовал немедленного свидания, говорил, что должен сообщить нечто такое, о чем нужно будет известить тотчас же его величество! Вице-канцлер велел допустить его, принял в ночном халате; незнакомец объявил, что прибыл русский царевич, оставил свой багаж и прислугу в Леопольдштадте, а сам находится на площади в трактире bey Klarrerger и хочет представиться вице-канцлеру, так как наслышался о нем много доброго. Вице-канцлер сказал, что оденется и пойдет к нему сам, а незнакомец объявил, что царевич недалеко и немедля явится к вице-канцлеру, как только пошлют к нему офицера. Не успел вице-канцлер одеться, как царевич был уже перед ним.

Прежде всего царевич попросил всех удалиться и оставить его наедине с вице-канцлером.

«Я пришел искать протекции у моего свояка-императора, просить спасти жизнь мою; меня хотят: погубить и моих бедных детей лишить короны».

Произнося эти слова, царевич оглядывался тревожно по сторонам, бегал с места на место.

«Успокойтесь, — говорил ему Шенборн, — вы здесь в совершенной безопасности. Расскажите спокойно, в чем ваше несчастье и чего требуете?»

Царевич продолжал:

«Император должен спасти мою жизнь, обеспечить мне и моим детям наследство; отец хочет меня погубить, а я ничем не виноват. Я никогда не раздражал отца, да и не мог... я слабый человек... Меншиков меня так нарочно воспитал; меня споили, расстроили умышленно мое здоровье; теперь отец говорит, что я не гожусь ни к войне, ни к правлению, — нет у меня достаточно ума, чтоб управлять; Господь раздает наследства, а меня хотели постричь и засадить в монастырь, чтоб отнять наследство., нет, я не хочу в монастырь... император должен охранить мою жизнь...»

Царевич говорил эти слова крикливым голосом, не мог стоять на одном месте и, бегая по комнате, перевернул кресло... Он остановился и попросил пива. Пива близко не было, ему предложили мозельвейну.

Царевич выпил и сказал: «Ведите меня сейчас к императору».

«Вы здесь в совершенной безопасности, — сказал вице-канцлер, но к императору вам явиться невозможно; теперь поздно, притом необходимо прежде представить его величеству правдивое и основательное изложение дела, которое вас так беспокоит, тем более, что мы ничего не слышали подобного относительно такого мудраго монарха, как ваш родитель.

«Я ничем не заслужил этого от отца, — говорил царевич, — всегда был ему послушен, ни во что ж вмешивался, я стал слабый человек от гонений и от того, что меня на смерть спаивали; но отец все-таки был добр, пока не родились у жены моей дети, и она умерла... с тех пор пошло хуже и хуже, особенно, как новая царица родила сына. Она с князем Меншиковым постоянно раздражала против меня отца; у них нет ни Бога, ни совести; они все толковали ему одно и то же... а я ничего отцу не сделал, я люблю и почитаю его, как велят десять заповедей, но не хочу постригаться и делать вред моим бедным малюткам... Царица и Меншиков непременно хотят или моей смерти, или пострижения».

Царевич замолчал; потом, собравшись с духомнесколько спокойнее стал рассказывать повесть своей жизни, начиная от своих детских лет.

«Я действительно не имел охоты к солдатчине, сказал он между прочим, — но вот несколько лет назад отец поручил мне правление, и все шло хорошо, и отец был доволен; но с тех пор, как царица родила сына, меня задумали уморить или запоить; я сидел дома тихо, как вдруг прошлаго года отец стал принуждать меня отказаться от наследства и жить частным человеком, или идти в монастырь, а в последнее время послал с курьером приказание, чтоб я либо ехал к отцу, либо же постригался немедленно; я постригаться не хочу — это

[18]

значит губить тело и душу, а ехать к отцу — значит ехать на муки, или меня опоят; уже меня предупреждали, что отец на меня гневен, а царица и Меншиков, зная, что царь становится слаб здоровьем, хотят меня отравить... так я написал отцу, что приеду к нему, а сам, по совету добрых друзей, приехал к императору; он мне свояк, он государь великий и великодушный. Сам отец мой очень его уважает; он один мне может помочь; я не хотел искать спасения ни во Франции, ни в Швеции, так как там враги моего отца... Я прошу у императора спасения моей жизни. Я знаю, говорили, будто я дурно обращался с женою моею, сестрою ея величества императрицы: Бог знает, что это неправда, напротив, так поступали с нею мой отец и царица; они обращались с моею женою, как с девкою, к чему жена моя не привыкла по своей эдукации; это ее очень огорчало, да и меня вместе с нею заставляли терпеть нужду; и особенно дурно с нею обходились, когда она была беременна... Я предаю себя и своих детей в защиту императора, умоляю не выдавать меня отцу; он окружен злыми людьми, — и сам он человек жестокий, ни во что считает человеческую кровь, думает, что он имеет над людьми такое же право, как Бог; много уже он пролил невинной

крови, часто собственноручно казнил осужденных им; он всегда гневен и мстителен, никого не щадит. Если император выдаст меня отцу, это все равно, что на смерть; если отец и будет ко мне добр, то мачеха и Меншиков не успокоятся, пока не уморят меня всяческими оскорблениями или не опоят меня ядом...»

Царевич стал снова порываться, чтоб его допустили к императору и императрице, ссылаясь на то, что он с ними в свойстве; вице-канцлер опять отговаривался ночным временем:

«Принимая во внимание такой щекотливый вопрос, как неудовольствие между отцом и сыном, и притом, так как вы прибыли инкогнито, то я нахожу более благоразумным, если вы не будете говорить с их величествами, для избежания толков в свете, а предоставите здешнему двору оказать вам явную или тайную помощь и, может быть, найти средства примирить вас с родителем».

«Нет никакой надежды, — сказал царевич, — примирить меня с отцом, я умоляю, пусть дозволит император мне жить либо открыто при его дворе, либо тайно, и куда-нибудь уйдет; я полагаю надежду, что этот великий государь не откажет мне в своем великодушии и не оставит своего свойственника».

Вице-канцлер уговаривал царевича подождать ответа до завтрашнего дня. Царевич ушел на свою квартиру.

На другой день по докладу вице-канцлера у императора была секретная конференция по поводу приезда русского царевича. Вечером вице-канцлер сообщил царевичу такое решение. Хотя его императорское величество не может себе вообразить, чтобы его величество царь был так вооружен против почтительного сына или допускал других делать сыну зло, тем не менее, однако, сочувствуя горю и жалобам царевича, император обещает ему покровительство, сообразно своему великодушию, родственной связи и христианской любви, и будет стараться примирить его с родителем, а до того времени признает лучшим, если царевич будет оставаться тайно и не станет представляться их величествам, тем более, что состояние беременности ее величества не позволяет ей свиданий и разговоров.

Царевич волею-неволею должен был подчиниться такому решению. 23 ноября его препроводили с людьми под большим секретом в замок Вейербург. Вслед за тем через несколько дней послан был к нему секретарь с вопросами или пунктами, касавшимися повода и цели его прибытия. На эти пункты царевич отвечал в таком же духе, в каком излагал свою судьбу и обстоятельства вице-канцлеру в разговоре, но, между прочим, присовокупил следующие замечательные слова:

«Свидетельствуюсь Богом, что я никогда не предпринимал против отца ничего несообразного с долгом сына и подданного и не помышлял о возбуждении народа к восстанию, хотя это легко было сделать, так как русские меня любят, а отца моего ненавидят за его дурную низкаго происхождения царицу, за злых любимцев, за то, что он нарушил старые

хорошие обычаи и ввел дурные, за то, что не щадит ни денег, ни крови своих подданных, за то, что он — тиран и враг своего народа».

Но при дворе рассудили, что пребывание царевича близко Вены может быть скоро узвано, и положили перевести его подальше: ему предложили отправиться в Тироль под видом государственного арестанта для большего отклонения подозрений. Царевич согласился на это с радостью, потому что увидел в этой мере заботливость императора укрыть его от преследований отца. 7 декабря его повезли в Амбах, оттуда на судне отправили по Дунаю до Молька, а потом на почтовых под караулом в Тироль и привезли в крепость Эренберг, лежащую посреди гор на высокой скале и почти лишенную сообщений по трудности пути. Там Алексея сдали коменданту и вручили последнему инструкцию, в которой предписывалось на сумму от 250 до 300 гульденов в месяц содержать присланное лицо со всяким довольством, готовить ему и состоящим при нем людям кушанье, какое им угодно, давать всегда чистое постельное и столовое белье, прилично убрать ему комнаты, снабдить их мебелью, призывать к нему в случае болезни врача, давать книги, если он потребует, позволять ему развлечения; если он захочет, то заняться с ним какой-нибудь игрою, позволять прогуливаться на свежем воздухе внутри крепости, позволять писать письма и, принимая их от него, посылать нераспечатанными к принцу Евгению. На все время пребывания арестанта с его людьми в крепости не дозволялось солдатам и их женам выходить за ворота крепости под страхом смертной казни, а караульным запрещалось вести с кем бы то ни было разговор о том, кто содержится в крепости, а на всякие вопросы велено отзываться незнанием. Царевич убедительно просил прислать ему священника; Шенборн отвечал, что это невозможно и надобно потерпеть, но велел доставлять ему газеты, из которых царевич мог знать, что делается в его отечестве.

Между тем Петр, дожидавшись сына и не дождавшись его долгое время, смекнул, что царевич, испугавшись роковой минуты, убежал. Петр сразу догадался, куда направил путь скрывшийся от него сын, и, находясь в Амстердаме, потребовал к себе из Вены своего резидента, Веселовского, дал ему указ разведывать о царевиче и вручил письмо к императору Карлу VI. Русский царь сообщил императору, что сын его, который всегда оказывался непослушным отцу и жил дурно со своею супругою, родственницей императора, получивши повеление ехать к отцу, скрылся неизвестно куда; царь просил императора, если бы царевич оказался явно или тайно в его областях, приказать прислать его под караулом вместе с Веселовским для отеческого исправления.

Прежде чем Веселовский прибыл на свое обычное место в Вену, он, по приказанию Петра, проехал по дороге от Франкфурта-на-Одере через города, ведущие в Вену, и донес царю, что нашел на след подполковника Коханского, который, по мно-

гим признакам, должен быть царевич; в Вене след Коханского потерялся, но вместо его явился какой-то польский кавалер Кременецкий, и по некоторым признакам можно было догадаться, что этот Кременецкий есть не кто иной, как тот самый, который назывался Коханским. Открылось, что Кременецкий спрашивал дороги в Рим; Веселовский, как он доносил царю, ездил нарочно по дорогам, ведущим из Вены в Италию, но никаких следов не увидел. Такие донесения для Петра были, конечно, неудовлетворительны. 24 февраля царь приказывал отправлять надежных людей в Италию и Швейцарию отыскивать беглеца.

В России скоро распространился слух о том, что царевич, отправившись к отцу, пропал неизвестно куда; начали ходить о нем то счастливые, то печальные вести. Одни говорили, что царь приказал схватить его на пути близ Гданьска и заслать в отдаленный монастырь; другие, что он скрывается в цезарских землях и скоро приедет к своей матери.

Разнеслись даже такие вести: солдаты взбунтовались за границей, царя убили; дворяне хотят привезти царицу в Россию, заключить ее вместе с ее детьми в тот самый монастырь, где томится законная супруга Петра, освободить последнюю и возвести на престол царевича Алексея. Эти слухи возбуждали радость в народе. «Здесь, — писал в Вену из Петербурга императорский посланник Плейер, — все готово к бунту; и знатные и незнатные жалуются, что их утесняют, детей хотят делать мастеровыми, имения отягощают налогами, людей выводят на крепостные работы» — эти слухи, сообщаемые Плейером, передавались Шенборном царевичу.

Веселовский обращался с вопросами к министрам императора; ему отвечали, что ничего не знают. Был у Веселовского приятель, между близкими к императору людьми, референт тайной конференции Дальберг; он открыл ему тайну о царевиче; посланный Веселовским в Тироль капитан Румянцев сообщил Веселовскому, что царевич находится в Эренберге под видом государственного преступника, которого считают польским или венгерским князем. Апреля 8-го Веселовский подал императору письмо, писанное Петром еще в декабре прошлого года. Ни император, ни министры его не хотели ничего объяснить Веселовскому о царевиче; император написал такой ответ царю, в котором не было сознания, что царевич находится во владениях императора, но в то же время послана была нота в Англию: английский король был также свойственником царевичу по родству с Бранденбургским домом. Император желал узнать, захочет ли английский король защищать царевича, если царь станет доставать сына оружием. В Эренберг послан был секретарь Кейль показать царевичу и оригинальные письма к Петру, и копию ноты, посланной английскому министру.

Кейль должен был известить царевича о том, что убежище его открыто, и предложил ему по этому поводу, если ему угодно пользоваться покровительством императора, переехать подальше, в Неаполь.

При этом царевичу было сделано замечание, чтоб он помнил, что не следует подавать поводов к отцовскому неудовольствию, в особенности следовало бы ему отставить прислугу, которая для отца кажется непристойной, дабы ничто не имело вида, будто его императорское величество, оказывая царевичу свою протекцию и через то вступая в неприятные столкновения с отцом его, заступает за то, что неуместно и достойно порицания. Царевич, приведенный в тревогу отцовским письмом и словами секретаря, заливался слезами, становился на колени, умолял пощадить его, делать с ним что угодно, только не выдавать отцу. Его повезли в Неаполь.

Он взял с собой только свою Евфросинью в мужской одежде. Остальная прислуга оставлена была до времени в Эренберге. По дороге встречались им подозрительные лица с царскими проезжими письмами. До какой степени царевич был это время предан винопитию, показывает донесение провожавшего его Кейля — «употребляю всевозможные усилия, чтоб удержать нашу компанию от сильного и весьма частаго пьянства, но тщетно».

Они прибыли в Неаполь 17 (6) мая и помещены в замке Сент-Альмо на холме, господствовавшем над городом. Оттуда царевич написал письма: одно к сенаторам, другое к духовным; в этих письмах извещал, что убежал от озлоблений, так как его хотели насильно постричь, и находится под покровительством некоей высокой особы; он просил не верить, если будут распускать вести, будто его нет в живых. Письмо это обещали послать по назначению окольными путями, однако не послали.

Недолго проживал царевич в неизвестности. Румянцев следил за ним до самого Неаполя, когда царевича везли туда. Петр узнал обстоятельно, где его сын, и 26 июля прибыл в Вену посланный от русского царя, Петр Толстой, вместе с отыскавшим след царевича Румянцевым. Петр поручил Толстому домогаться выдачи Алексея, обещая от отца прощение царевичу, а если император никаким образом не согласится на выдачу, то, по крайней мере, добиться свидания с царевичем, чтобы убедить последнего воротиться в отечество. Если никакие представления не подействуют на императора и он не допустит к царевичу Толстого, последний должен был объявить, что такие поступки императора царь примет за явный разрыв и будет мстить за обиду своей чести,

Посланный представил письмо царя императору.

Царь просил выдачи сына. Император, с совета своих министров, не согласился на выдачу, но дозволил Толстому ехать в Неаполь уговаривать царевича к возвращению на родину. Много способствовала этому теща императора и царевича, которая боялась, что если раздор между Петром и его сыном доведется до крайности, то от этого могут потерпеть ее внуки, дети царевича. Императорское правительство хотело избавиться от царевича, но так, чтоб не падало дурной тени на самого императора, а потому императорскому наместнику в Неаполе (находившемуся по Утрехтскому миру в числе владений Габсбургского дома), вице-королю

(вицерою) Дауну поручалось, с своей стороны, содействовать, чтоб царевич добровольно согласился воротиться в отечество; если же царевич не поддастся никаким убеждениям, то Даун должен был уверить его, что он безопасно может оставаться под покровительством императора. Император почему-то думал, что отец сердится на сына более всего за связь с женщиною, которую царевич возил с собою, и поручил Дауну внушить царевичу, что примирение с отцом легче состоится, если царевич отпустит от себя эту женщину. Но царевич озадачил Дауна такими словами: «Если мой отец гневается на меня за эту женщину, то почему не потребует удаления этой женщины? Напротив, он хочет наложить руки на меня самого!»

24 сентября 1717 года Толстой и Румянцев приехали в Неаполь.

Через день вице-король Даун пригласил в свой дом царевича с тем, чтоб доставить царским посланцам возможность видеть царевича и тогда, когда бы последний заупрямился и не хотел допускать их к себе. Так поступил императорский наместник для того, чтобы, сообразно письму, полученному от своего государя, содействовать возвращению царевича.

Толстой передал царевичу письмо от отца. Петр хотя и упрекал сына в бегстве, но приглашал последовать тому, что будут ему говорить от имени

[20]

царя Толстой и Румянцев, и написал такие строки: «Я тебя обнадеживаю и обещаю Богом и судом Его, что никакого наказания тебе не будет, но лучшую любовь покажу тебе, ежели воли моей послушаешь и возвратишься».

Толстой вручил царевичу письмо от тещи; она подавала царевичу совет помириться с родителем.

Царевич не поддался ни на что. Он боялся, чтобы приехавшие к нему соотечественники не наложили на него рук; то же считал возможным и сам император, полагавший, как вообще полагали на Западе, что московиты способны на всякий дикий и грубый поступок, воспрещаемый правилами европейского общежития.

Через два дня, 28 сентября, Даун снова назначил свидание царским посланцам с царевичем у себя.

«Я не поеду в Россию; я боюсь явиться перед гневным отцом; я не смею, — говорил царевич, — я напишу об этом императорскому величеству, моему протектору».

«Император, — сказал Толстой, — не станет тебя удерживать и вступать во вражду с отцом твоим. Царь будет считать тебя изменником и не отстанет, пока не добудет тебя живаго либо мертваго; мне приказано не удаляться отсюда, прежде чем я не возьму тебя; куда бы тебе ни увезли — я буду за тобой ездить по следам».

Трусливый царевич задрожал, схватил Дауна за руку увел в другую комнату и говорил:

«Что, если отец станет меня требовать вооруженною рукою, будет ли мне покровительствовать цезарь?»

«Не обращайтесь внимания на эти угрозы, — сказал ему вице-король, — его императорское величество очень желает вашего примирения с родителем, но если вы не считаете безопасным для себя ваше возвращение, то извольте оставаться; его императорское величество настолько могуществен, что может охранить тех, которые отдаются под его протекцию».

Ободрился царевич: «Я ни за что ни под каким видом не хочу попадаться в руки отца», — сказал он Дауну. Но по своей робкой, слабохарактерной природе он не смел также решительно отвечать Толстому и прибегнул к таким уловкам, к каким обыкновенно прибегают подобные царевичу люди в минуты необходимости решиться на что-нибудь важное: он сказал, что повременит, подумает...

После того царевич запрятался в замке Сент-Альмо и не поехал к вице-королю на третий разговор.

Нужно было, однако, чем-нибудь покончить. Даун устроил третье свидание уже в самом замке Сент-Альмо, отправивши туда с Толстым и Румянцевым своего помощника фельдцейгмейстера Венцля. Из этого свидания также ничего не вышло.

Толстой думал склонить Дауна, чтоб он пострашал царевича; Толстой поминал о награждениях со стороны царя, хотя не имел на то царского указа; Даун готов был способствовать возвращению царевича, действуя только в тех пределах, какие ему были указаны императорскими письмами. Оказался податливее и склоннее к принятию наград секретарь его Вейнгардт. Толстой дал ему сто шестьдесят червонцев. За это Вейнгардт отправился к царевичу и стал, как бы от себя лично, говорить, что императорская протекция не совсем надежна: если царь объявит, что прощает сына, а сын не поедет, и после того царь вздумает вести войну, то император нехотя выдаст сына отцу.

Слова Вейнгардта сильно растревожили царевича.

Он стал побаиваться, как бы в самом деле не хуже для него вышло, когда он теперь отвергнет предлагаемое отцовское прощение, а после попадетя в руки отцу. Он написал записку к Толстому и просил приехать к нему, только без Румянцева, — последнего царевич боялся. Толстой приехал и говорил с царевичем наедине.

«Я получил от государя письмо, — сказал царевичу Толстой, — он собирает войско в Польше, хочет ввести его в Силезию и доставать оружием своего сына, а сам готовится ехать в Италию. Ты помнишь, государь давно хотел ехать в Италию, теперь для сего случая поедет; не думай, что он тебя видеть здесь не может! Кто ему запретит?»

Это поколебало царевича; он сказал: «Я бы поехал к отцу, только если бы у меня не отняли Афросиньи и дозволили жить в деревне».

Затем он обещал еще подумать и дать ответ завтра.

Толстой понял, что с таким характером царевича дело потянется, и приступил к Дауну с просьбою поугагать царевича разлукою с

Афросиньюшкой. Даун на самом деле не смел отнять Евфросиньи у царевича, потому что это было бы уже насилие, но поугагать царевича разлукою с нею он считал дозволительным, во-первых, оттого, что император приказал ему содействовать добровольному согласию сына ехать к отцу, во-вторых, оттого, что царевичу от лица императора было заявлено, что если отец сердится на него за женщину, которую он с собою возит, то царевич должен знать, что императору неприличным окажется заступаться за поступки, достойные порицания. Притом если бы оно и совершилось, отлучение Евфросиньи от царевича, то и тогда можно было бы найти увертку, объявивши, что это еще не есть нарушение покровительства, обещанного только особе царевича, — это не значило бы, что император выдает его отцу. Буква закона и приличия соблюдались. Вицекороль велел сказать царевичу, что прикажет отлучить от него женщину в мужской одежде. Царевич испугался и просил повременить до утра, чтоб поговорить со своей Евфросиньей. Царевич предполагал искать спасения у папы в Риме, если цезарь его разлучит с нею. Евфросинья стала ему советовать во всем покориться отцовской воле и просить прощения у отца.

Это обстоятельство решило все. Царевич на другой день объявил Толстому и Румянцеву, что едет в отечество с двумя кондициями: во-первых, если ему позволят жениться на Евфросинье, а во-вторых, жить в деревне. Толстой не имел права согласиться на такие кондиции и находил их паче меры тягостными, но все принял на себя и дал согласие словесно.

«Я еду с вами, — сказал царевич, — а вы упросите моего отца, чтоб мне дозволили жениться, не доезжая Петербурга».

Толстой дал слово стараться, чтобы с царевичем было поступлено по его желанию, и в тот же день послал к царю известие о благополучном исходе своего предприятия паче всякого ожидания.

Толстой, со своей стороны, представлял царю свое мнение, что всего лучше позволить царевичу жениться: с одной стороны, это уронит его в глазах цезаря, и весь свет будет видеть, что сын ушел от отца из-за этой девки, а с другой — в своем государстве все узнают, что такое царевич.

Давши слово ехать в Россию, царевич прежде съездил в Бар поклониться мощам св. Николая. Толстой и Румянцев последовали за ним неотступно туда же. Возвратившись со своего богомолья 14 октября, царевич отправился из Неаполя на Рим и беспрестанно толковал со своими дядьками о том, как бы отец дозволил ему обвенчаться за границу до приезда в Россию. Толстой и Румянцев очень боялись, чтобы царевич под какими-нибудь впечатлениями не изменил своих намерений: они не были спокойны, пока не выедут из владений императорских. Поэтому Толстой не останавливался в Вене, проехал ее с царевичем с третьего на четвертое декабря ночью, и путники, не останавливаясь, достигли Брюнна, но здесь для них

произошла неожиданная задержка. Генерал–губернатор Моравии, граф Колоредо, не позволил путешественникам следовать далее, прежде чем не увидится и не поговорит с царевичем. Он исполнил полученное от императора приказание,

Царевич проехал Вену и не явился к императору: это обстоятельство подало императору подозрение, что царевича везут поневоле, что, быть может, он раскаялся в данном согласии и желает остаться под покровительством императора. Поэтому–то император велел моравскому генерал–губернатору графу Колоредо непременно видаться с царевичем и узнать от него причину, почему он не представился ему в Вене?

Толстой сначала упорно не хотел ни за что допускать кого бы то ни было видаться с царевичем.

Это давало повод, заключать, что над царевичем делается принуждение, что сам царевич, вероятно, сказал бы что–нибудь такое, чего сказать Толстой не допускает его. Колоредо, согласно императорскому повелению, задержал путешественников, несмотря на протест Толстого, вопившего о нарушении народных прав, угрожавшего разрывом с Россией. Но потом, 23 декабря, Колоредо был допущен к царевичу, и царевич на вопрос генерал–губернатора, почему он не представился императору в Вене, объявил, что все произошло по причине дорожных обстоятельств, от трудности явиться ко двору в приличном экипаже и с приличною обстановкою. Толстой и Румянцев стояли тут же. Колоредо ничего более не оставалось, как отпустить из Брюнна путешественников и позволить им продолжать свой путь беспрепятственно до выезда из владений императора.

Это объясняется, по нашему мнению, тем, что (как следует полагать по расчету времени) доставлено было царевичу письмо отца, писанное от 17 ноября к Толстому и Румянцеву. В этом письме Петр приказывал передать царевичу свое согласие на брак его с Евфросиньей и проживание в деревне только с тем, чтобы венчание произошло в пределах России, а не за границею, для избежания большего стыда. Царевич успокоился обещанием царя и родителя.

Евфросинья следовала за ним медленно, потому что была беременна и направлялась по иной дороге, вместо Вены, на Нюрнберг, Аугсбург и Берлин. Царевич получал от нее письма, писал к ней, советовал ехать потише, особенно через горы, говорил о своем будущем ребенке, которого называл Селебеным (?). Замечательно, как сильно и постоянно занимали царевича церковные обряды. В одном из своих писем к Евфросинье он выражался: «А что ты писала, чтобы Судакову (одному из трех служителей, оставленных в Эренберге) дать денег, и дай ему ты против тех же равно с ними, а когда велишь ему у себя петь вечерню и утреню в воскресенье, а он, еленою (?) живучи, забыл гласы, и ты скажи ему, что декабря в 1–й день был осьмый глас, поэтому он может знать, что петь...»

Вступивши в пределы России, царевич ехал на Москву. Уверенность в счастливом окончании дела не покидала его. 23 января 1718 года он

писал Евфросинье из Твери: «Все хорошо, чаю, меня от всего уволят, что нам жить с тобою будет, Бог изволит в деревне, и ни до чего нам дела не будет». Между тем в отечестве он мог замечать расположение к себе народа; Плейер, следивший зорко за расположением умов в России, доносил своему правительству, что во время проезда царевича народ кланялся ему и говорил; благослови, Господи, будущего государя нашего!

Помещики, духовные, простой народ — все, по свидетельству Плейера, отзывались в то время с любовью о царевиче Алексее.

31 января царевича привезли в Москву.

Отец его был уже там.

3 февраля его ввели к отцу, которого окружали нарочно приглашенные духовные и светские сановники. Царевич был без шпаги. Он упал к ногам родителя заливался слезами, просил помилования.

«Я покажу тебе милость, — сказал царь, — но только ты должен отречься от наследства и указать тех, которые присоветовали тебе бежать за границу к цезарю».

Царь ушел с ним в другую комнату и говорил наедине. В тот же день в Успенском соборе, пред Евангелием, царевич подписал клятвенное обещание ни когда, ни в какое время не искать, не желать и ни под каким предлогом не принимать престола, а признавать истинным наследником своего брата Петра Петровича.

В тот же день опубликован был манифест ко всему русскому народу, заранее приготовленный. В этом манифесте объявлялось о давней, постоянной неохоте царевича к воинским и гражданским делам, о его безнравственности, о том, что он, еще при жизни своей жены, взял «некакую бездельную и работную девку» и с оною жил явно незаконно, и это способствовало смерти его жены, излагалась история побега царевича, сообщалось, между прочим, что императорский вице-рой в Неаполе объявил царевичу, что цезарь не станет ни по какому праву держать его в своих владениях (против этого известия впоследствии протестовал Даун)⁵. Наконец, в том же манифесте объявлялось, что царь, отеческим сердцем о нем «соболезнуя», прощает его и от всякого наказания освобождает, но лишает наследства после себя, «хотя бы ж единой персоны нашей фамилии не оставалось», а вместо отрешенного от наследства назначает наследником другого своего сына — Петра, которого во подданные должны признать наследником посредством целования креста. Затем все, которые будут признавать Алексея за наследника, объявлялись изменниками.

Казалось, задушевное желание Петра достигалось сын ненавистной Евдокии в глазах всего народа, в глазах всего света показал себя недостойным; он осрамлен, очернен, ошельмован, как говорилось тогда;

⁵ В протесте Дауна не говорится также, чтобы Даун страшал царевича разлучением с Евфросиньей, но в этом случае мы вправе более верить Толстому. С какой стати последнему сваливать часть своих заслуг на другого, когда для него гораздо лучше было бы явить Петру свое искусство, если бы он сумел достать царевича без чужой помощи.

сын любимой, дорогой Екатерины признан наследником Прощение недостойному сыну объявлено торжественно.

Но прощение объявлено с тем, если Алексей откроет своих соучастников: этого не было объявлено Алексею в то время, когда Толстой выманил его из заграничного убежища.

Петр был сильно раздражен заговорами, восстаниями всякого рода, противодействиями своим мерам и явными, и тайными, и деятельными, и страдательными; Петр был уверен, что на Руси есть много не любивших его. Петру предстоял удобный случай поймать некоторых из них, и притом не простых, а влиятельных людей.

На другой же день после объявления манифеста начался розыск. Царевичу задали вопросные пункты, требовали от него показаний не только о действиях, но и о словах, какие он произносил сам и какие он слышал от других в разное время.

Царевичу дали вопросные пункты, которые оканчивались такими зловещими словами;

«Ежели что укроешь, а потом явно будет, то на меня не пеняй, понеже вчерась пред всем народом объявлено, что за сие пардон не в пардон».

Мелкая, эгоистическая натура Алексея проявилась во всей силе. Царевич настроил показание, в котором прежде всего очернил Александра Кикина как главного советника к побегу, наложил подозрение на своего камердинера Ивана Большого Афанасьева (хотя, как показывал, объявивши о намерении учинить побег, не получил от него одобрения), показал на Дубровского, которому передавал деньги для матери, на своего учителя Вяземского, на сибирского царевича, на Ивана Кикина, на Семена Нарышкина, на князя

[22]

Василия Долгорукова и отчасти на царевну Марью Алексеевну. Царевич оговорил Кейля, секретаря имперского канцлера Шенборна, показавши, будто он принуждал его писать письма к сенаторам и архиереям, хотя эти письма не были посланы. Показания царевича не заключали полной искренности, которая все-таки бывает свойством более благородных натур; царевич раскрывался вполовину; он сказал настолько, что его показания могли притянуть в беду других, а о себе не сказал всего; он делал так, как всегда делают в таких обстоятельствах подобные царевичу люди.

Александра Кикина схватили в Петербурге, пытали там же, потом вместе с Иваном Большим Афанасьевым привезли в Москву и подвергли страшным истязаниям в Преображенском приказе. Его пытали четыре раза. Кикин упорно запирался, отрицал справедливость показаний царевича, наконец, 5 марта после невыносимых мучений пытки сказал:

«Что царевич в повинной своей написал и то он делал, а иного не упомнит, только во всем том он виноват, а тот побег царевичу делал и

место он сыскал в такую меру: когда бы царевич был на царстве, чтоб был к нему милостив».

Его приговорили к жестокой казни.

На другой день казни истерзанный Александр Кикин лежал на колесе еще живой; царь проехал мимо него, слышал его стоны, вопли, моления об отпущении души на покаяние а монастырь; царь приказал отрубить ему голову и воткнуть на кол.

Камердинер Иван Большой Афанасьев оговорил многих, но не спас себя, и его приговорили к смерти, но приговор отложили.

То же сделано было с Дубровским, сообразно показаниям царевича.

Сенатора князя Василия Долгорукого арестовали в Петербурге и отправили скованным в Москву, а вслед за тем в Петербурге арестовали многих лиц⁶ и заковали в ножные кандалы: их отправили в Москву. Всем, находившимся в Петербурге, запрещено было до возвращения государя в Петербург из Москвы выезжать из Петербурга по Московской дороге, под опасением потери жизни. Можно вообразить себе всеобщий ужас, господствовавший в это страшное время.

Князь Василий Долгорукий, человек государственный и близкий к царю, хотя не любивший Меншикова, царского любимца, не мог быть обвинен в соучастии с царевичем, но ему поставили в вину остроты, которые он отпускал над царевичем, которого хорошо понимал. Припомнили ему тогда его замечание на сходство писем царевича к отцу с записями, которые давали в старину бояре друг другу. Долгорукий и после отъезда царевича за границу еще проговорился неосторожно. Когда услышали, что царевич возвращается в Россию, князь Василий сказал: «Вот дурак! Поверил, что отец посулил ему жениться на Афросинье! Жолв ему, а не женитьба! Чорт его несет: все его обманывают нарочно». Подобного рода выражения поставлены были ему в вину. Яков Долгорукий написал тогда царю сильное и умное письмо, выставял заслуги лиц своего рода, оказанные Петру, и указывал царю, что «ино есть дело злое, ино слово с умыслом и намерением злым, ино есть слово дерзновенное без умыслу и хотя не безвинное, однако не такой достойное мести, какой достойны злодеи, умыслом виновные».

Князь Василий все-таки был отправлен в Петропавловскую крепость и впоследствии заплатил за свои остроты ссылкой в Соликамск. Учитель Вяземский отписался, показавши, что он не знал об умыслах царевича,

⁶ 21 февраля отправлены к Москве из Спб. господин генерал князь Василий Володимирович, Петр Матвеевич, сибирский царевич. Аврале Лопухин, Иван Кикин, князь Богдан Гагарин, Михаила Самарин, да камердинер Иван Меньшой Афанасьев, Никифор Богданов, Еверлаков, Константин Баклановский, дьяк Волков, дьяк Воронов, поп Греческий. Они посланы под караулом от гвардии майора господина Юсупова Княжева пополуночи в 9 часу в ножных железах все. Того же числа привез в гварнизон под караулом светлейший князь г-на секретаря Волкова. В 22-й день. Привез господин генерал-майор Чернышев в гварнизон под караул пополудни во 2 часу Ивана Ивановича Нарышкина, Василия Михайловича сына Глебова; и на оных наложены ножные железа. Того ж числа привез под караул лейб-гвардии Преображенского полка сержант Спицын Александра Кикина, секретаря Гаврила Конспицкого, да человека его ж Бобриня, да двух денщиков, Д1ишукова да Жукова и пр.

притом и царевич давно уже не любил его и теперь наговорил на него по злобе.

Но розыск, производимый тогда в Преображенском приказе, не ограничился только теми лицами, которые притянуты были по оговору или по подозрению в содействии царевичу к побегу. В тот же день, когда заданы были вопросные пункты царевичу, Петр послал Григория Скорнякова-Писарева за бывшею своею женою Евдокиею, в монашестве Еленю. Скорняков-Писарев привез ее в Москву и донес, что нашел ее не в монашеском, а в мирском платье; это было вменено ей в большое преступление. Вслед за несчастною царицею притянули в Преображенский приказ толпу мужчин и женщин духовного и мирского чина. Скорняков-Писарев (впоследствии и сам испытавший горькую участь), угождая Петру, давал советы хватать того и другого, чтоб открывать «воровство».

Тогда открылось, что отверженная царица после долгого томления в монастыре завела любовную связь с майором Глебовым, человеком женатым, уже не молодым, имевшим взрослого сына. Попались ее письма к этому человеку (замечательные как образчик выражения сердечных чувств старорусской женщины). Царица на допросе созналась в связи с ним. Сознался и майор Степан Глебов, но не хотел сознаваться ни в писании, ни в произнесении хульных слов на Петра и Екатерину. Не добились от него сознания посредством кнута и жжения горячими углями и раскаленным железом, и все-таки посадили на кол 16 марта на Красной площади. Испытывая невыразимые страдания, он был жив целый день, затем ночь и умер только пред рассветом, испросивши тайно у одного иеромонаха причащение св. Тайн пред смертью. Колесован был ростовский епископ Досифей за то, что поминал Евдокию царицею, утешал ее разными вымышленными откровениями, гласами от образов, видениями и тому подобными, издавна принятыми в старой Руси способами, пророчил, между прочим, ей быть снова царицею. Казнили смертью духовника царицы, посредника в сношениях с Глебовым; подвергли жестокому наказанию кнутом несколько женщин, и в том числе монахинь, угождавших Евдокии. Сама Евдокия была отправлена в ссылку в Ладожский женский монастырь. Царевну Марью Алексеевну послали в Шлиссельбург; после она была переведена в Петербург и оставлена в особом доме под надзором.

Во время страшного розыска в Преображенском приказе произошло в глазах Петра замечательное событие:

2 марта, в Сборное воскресенье, в обедню, царю Петру подал некий человек бумагу. Бумага эта оказалась присяжным листом на верность царевичу Петру Петровичу, объявленному наследником престола. На нем было подписано:

«За неповинное отлучение и изгнание от всероссийскаго престола царскаго Богом хранимаго государя царевиче Алексея Петровича христианскою совестью и судом Божиим и пресвятым Евангелием не клянусь и на том животворящаго креста Христова не целую и

собственною своею рукою не подписуюсь; еще к тому и прилагаю малоизбранное от богословской книги Назианзина могущим внять в свидетельство изрядное, хотя за то и царской гнев на мя произлиется, буди в том воля Господа Бога моего Иисуса Христа, по воле Его святой за истину аз раб Христов Иларион Домунин страдати готов. Аминь, аминь, аминь».

Этот Докукин был подьячий. Три раза подвергали его жестоким истязаниям. Он никого не выдал, хулил Петра и Екатерину и кричал, что пришел добровольно пострадать за имя Христово. Его колесовали.

Пример Докукина открывал Петру, что между сторонниками его сына находятся (хотя немногие) люди, о которых можно было сказать, что они не чета жалкому, ничтожному царевичу. Петр понял, что сила, вооружающаяся против него, не в самом сыне — а за этим сыном, «Когда бы не монахиня, не монах и не Кикин, Алексей не дерзнул бы на такое неслыханное зло! — говорил Петр Толстому, — О, бородачи! Мню—

[23]

гаму злу корень старцы и попы! Отец мой имел дело с одним бородачом, а я с тысячами».

В изобилии лилась человеческая русская кровь за этого царевича, а он сам между тем тешился уверенностью, что страданиями преданных ему людей купил себе спокойствие и безмятежную жизнь со своей дорогой Афросиньюшкой. «Батюшка, — писал он к Евфросинье, — взял меня к себе есть и поступает ко мне милостиво! Дай Боже, что и впредь также, и чтоб мне дожидаться тебя в радости. Слава Богу, что от наследства отлучили, понеже останемся в покое с тобою. Дай Бог благополучно пожить с тобой в деревне, понеже мы с тобой ничего не желали только, чтобы жить в Рождественке; сама ты знаешь, что мне ничего не хочется, только бы с тобою до смерти в покое дожить. А будет что немецких врак будет (т. е. что будут писать о его деле за границую), о сем, пожалуй, не верь. Пожалуй, ей-ей, больше ничего не было!»

Ничто, по-видимому, не угрожало ему. Царское слово было ему дано. Царевич все открыл, а если не все, то некому обличить его. Чего же более?

18 марта царь уехал из Москвы в Петербург. Царевич уехал с ним. Екатерина заранее писала к Меншикову, чтобы приготовить, починить и убрать для царевича двор, бывший Шелтингов.

12 апреля была пасха. Царевич, явившись с поздравлением к мачехе, валялся в ногах у нее и умолял ходатайствовать пред царем о дозволении жениться на Евфросинье. Это делалось вслед за тем, когда осуждена была на увеличенные тяжкие страдания его родная мать, опозоренная публичным извещением о ее связи с Глебовым!

Наконец приехала давно жданная Евфросинья. Но царевич не встретил ее, не обнял при свидании. Ее, еще беременную, засадили в Петропавловскую крепость 20 апреля; туда же посадили ее брата Ивана

Федорова и трех служителей, разделявших изгнание царевича за границу.

Там она, должно полагать, и родила своего Селебеного; но что случилось с этим ребенком, неизвестно.

В одну из суббот, в мае, царь отправился в Петергоф, и царевич поехал туда же.

Вот к этому-го моменту описываемой нами трагедии относится картина г-на Ре, по поводу которой мы решились припомнить нашим читателям, с нашим собственным взглядом, события более или менее всем известные. Царь Петр допрашивает царевича. Перед ним бумаги — это роковое показание Евфросиньи, которого никак не ожидал цвревич.

Художник изобразил безукоризненно мастерски этого царевича. Тупоумие, мелкая трусость, умственная и телесная лень, грубая животность видны в его чертах, пораженных горем и тоскою; его горе не таково, чтобы возбудить к себе то сострадание, которое неразлучно бывает с уважением. Всмотритесь повнимательнее в эти черты, и вы увидите в них что-то недоброе, лживое, лукавое... Это такой человек, который с первого раза покажется чрезвычайно добрым, но который тотчас проявится иным, когда вы вступите с ним в серьезное дело. Он себя считает выше других, но при своем неумении взяться за дело и вести дело он постоянно нуждается в помощи других, в нужде станет унижаться, но первому же, кто ему окажет услугу, заплатит очень дурно, даже, быть может, именно потому, что будет чувствовать себя обязанным к нему благодарностью и тяготиться этою обязанностью. При своей умственной нищете, он склонен к суеверию, но неспособен к истинной вере, которая может быть только уделом людей с волею. В беде, постигающей его, он хочет возбудить к себе сострадание, но невольно возбуждает жалкое презрение; зато он не будет сострадать чужой беде: на это он слишком беден духом. Это человек, забитый деспотизмом, но всегда жалеющий деспотствовать над другими... Таким представляется Алексей Петрович на картине г-на Ге.

Минута роковая. Петр прочтет ему показание, Алексей растеряется...

Все его надежды поколебались в эту минуту. Афросиньюшка, с которой он надеялся скоро вступить в брак, у него уже отнята. Но эту Афросиньюшку он увидит скоро: ее везут за ним в закрытой тележке. Он увидит ее, но как? Существо, которому он весь отдался, для которого жертвовал так охотно надеждою короны, — это существо явится низким, предательским оружием его гибели!

Евфросинье в крепости задали вопросные пункты о том: кто писал царевичу во время его пребывания за границей, кого хвалил царевич, кого он бранил, что о ком говорил?

Если бы Евфросинья была подосланною от Петра соглядатайницею за царевичем, и тогда не могла бы она лучше исполнить своей обязанности. Припоминая, как Меншиков советовал царевичу взять ее с собою за границу, а то время, когда царевичу, как едущему к отцу, решительно невозможно, казалось, девать такой совет, невольно приходишь к

подозрению: не подкуплена ли она была заранее, чтобы следить за царевичем? Но обращать подозрение в уверенность ни исторического права, тем более, что вопрос легко может быть разрешен и другими способами: Евфросины делала из страха то же самое, что могла делать из выгод!

«Царевич, — показала она, — писал не раз цезарю жалобы на отца, писал письма к архиереям с тем, чтоб эти письма подметывать, жаловался постоянно на родителя, что он хотел лишить его наследства, и как мог искал живот его прекратить; сам царевич очень приложно желал наследства, изъявлял радость, когда читал в курантах, что брат его Петр Петрович болен». «Видишь, — говорил он, — батюшка делает свое, а Бог свое!» Царевич надеялся на сенаторов, не сказавши, однако, Евфросинье, на кого именно надеется, а только говорил такие слова: «Хотя батюшка и делает то, что хочет, только как еще сенаты похотят, чаю, сенаты и не сдалают, чего хочет батюшка!» Когда слышал о видениях и читал в курантах, что в Петербурге тихо и спокойно, то говорил: «Тишина недаром. Может быть, отец мой умрет, либо бунт будет. Отец надеется, что, по смерти его, вместо малолетняго Петра, будет управлять мачеха его, царевича, думая, что она умна, — но тогда будет бабье царство и добра не будет, а будет смятение; иные станут за брата, а иные за меня»... «Я, — говаривал он, — когда стану царем то старых всех переведу, а наберу себе новых по своей воле. Буду жить зиму в Москве, а лето в Яроолавле. Петербург будет простым городом; корабли держать не стану, войны ни с кем иметь не хочу; буду довольствоваться старым владением...» Услышал царевич, будто в Мекленбурге бунтует русское войско, и очень обрадовался. Евфросинья показала также, что царевич из Неаполя хотел было бежать к папе, но она его удержала.

Когда царевичу предъявлено было это показание, он запырлся.

Ему дали очную ставку с Евфросиньей. Он кое в чем сознался.

Затем ему дали целую кучу вопросов, на основании разных показаний, особенно Ивана Афанасьева Большого, не столько о делах, сколько о словах двусмысленного значения, в разные времена произнесенных царевичем. Царевич и туг по одним пунктам сознавался, по другим — запырлся.

Вслед за тем царевич, очевидно, находясь в состоянии того перепуга, когда человек, потерявши присутствие духа при виде страшной опасности, не ищет уже средств избавиться от беды, а сам в беспамятстве бросается в погибель, написал показание, в котором наговорил столько, сколько даже не был вынужден говорить; он открывал свои тайные помышления, а отвечая на вопрос, на кого имел надежду, набросил

[24]

тень подозрения на многих государственных людей — на Якова Долгорукова, Бориса Шереметева, Димитрия Голицына, Куракина, Апраксина, Головкина, Стрешнева и других. Правда, он не обвинял их в

том, что б они знали об его замыслах, но называл их своими друзьями, готовыми к нему пристать, как он думал. Он снял обвинение с имперского чиновника Кейля, на которого прежде наговаривал, будто тот принуждал его писать письма к сенаторам и архиереям, — на этот раз он притянул к делу киевского митрополита, сознался, что писал к нему, — просил этого архипастыря всем сказывать, что царевич уехал от принуждения вступить в монастырь и находится в добром здравии. Этому показанию придали тогда важное значение. Царевич заявил, что киевский архиерей ему друг. Мы не станем утомлять читателей наших подробностями показаний царевича, тем более, что их можно найти в VI томе «Истории» Устрялова. Важнейшее, оказавшее более всего пагубного влияния на судьбу царевича, состояло в таких словах:

«Когда слышал о мекленбургском бунте (войска русскаго, как писали в иностранных газетах), радуясь говорил, что Бог не так делает, как отец мой хочет, и когда бы оное так было, и прислали бы по меня, то бы я с ними поехал; а без присылки поехал ли или нет, прямо не имел намерения, а паче и опасался без присылки ехать, а когда-б прислали, то-б поехал. А чаял быть присылке по смерти вашей, для того что писан», что хотели тебя убить, и чтоб живаго тебя отлучили, не чаял. А хотя б и при живом прислали, когда б они сильны были, то-б мог поехать».

Царевич не был еще арестован и не сидел в крепости (иуда его засадили уже в половине июня). Но есть свидетельства, показывающие, что, находясь еще на свободе, он подвергался истязаниям. Уже после его смерти осужден был на каторжную работу крестьянин графа Мусина-Пушкина Андрей Рубцов, видевший, как на мызе, где был царевич, по приезде царя, повели царевича под сарай и оттуда слышны были стоны и крики, а двое других лиц, слышавших о том от Рубцова, Прошилов и Леонтьев, казнены смертью за дерзкие рассуждения об этом событии (Рус. Вест. 1860 г. № 21). Эти известия делают понятным: отчего царевич мог писать показания, явно составленные под влиянием перепуга.

Гвардии капитан Скорняков-Писарев отправился в Киев, сделал обыск бумагам митрополита и ничего не нашел, но митрополита Иосафа Кроковского, больного и престарелого, отправили а Петербург: он умер на пути, в Твери. Царевич показывал и на главное лицо между тогдашними архиереями, на Стефана Яворского; он был расположен к царевичу; но Стефана не тронули, хотя царь давно уже косился на него за речь, некогда произнесенную с участием к царевичу, бывшему тогда за границую в свою первую поездку.

Сознание царевича в том, что он готов был пристать к бунтовщикам и действовать открыто против отца, дало повод не стесняться по отношению к лицу царевича царским обещанием помилования.

13 июня написаны были два объявления: одно к духовным, другое к светским судьям, избранным из воинских и гражданских чинов.

Крепко стоя за свое царское самодержавие (на которое, как знал царь из истории своих предков, бывали посягательства, особенно со стороны духовных), Петр в своих объявлениях, прежде всего, счел

нужным оказать, что он «по божественным и гражданским правам, а особливо по правам российским» имеет «довольно власти учинить за преступление по своей воле без совета других», но призывает советников, уподобляясь в этом случае врачу, который, не доверяя себе в лечении собственной болезни, приглашает других врачей... В объявлении духовенству оказано, что хотя это дело и не духовного суда, но царь приглашает духовенство на основании повеления закона Божия, как значится в XVII гл. Второзакония. В объявлении к светским царь клянется самим Богом и судом его, что Ему не будет противен их суд, требует, чтоб они вершили это дело отнюдь не «флатируя или не похлебуя» ему, государю: «Не разсуждайте того, что тот суд ваш надлежит вам учинить на моего, яко государя вашего, сына, но, не смотря на лицо, сделайте правду и не погубите душ своих и моей, чтоб совести наши остались чисты а день страшного испытания и отечество наше безбедно».

Духовенство отвечало хотя уклончиво, но замечательно мудро. Выписав разные места из св. Писания, свидетельствующие об обязанности детей повиноваться родителям, оно представило на волю государя действовать или по Ветхому, или по Новому завету; хочет руководствоваться Ветхим заветом — может наказать сына, хочет ли предпочесть учение Нового завета — может пощадить и простить его по образцу, указанному в притче о блудном сыне и в поступке Спасителя с женою-прелюбодейницею. «Сердце царевы в руке Божией есть; да избрет тую часть, а може рука Божия того преклоняет!» — так сказано в конце приговора духовных.

Церковь, в лице своих представителей, исполнила свое дело: указала дух, в каком должна действовать мирская власть, признающая себя христианскою, а затем, что могла делать более эта церковь, не имевшая никакого оружия, кроме слова, никаких понудительных мер, кроме нравственного влияния?

Что могли оказать светские судьи, сохраняя свое достоинство в равной степени, как сохранили его духовные? Они могли сказать: царь-государь, ты дал свое царское обещание сыну чрез Толстого в Неаполе, что ему наказания не будет, если он возвратится. Сын твой поверил слову царя-родителя, и судить его нельзя; если он сдетает еще что-нибудь преступное, в таком случае созывай нас, мы будем судить его. Но могли ли говорить так люди, во главе которых сидел Александр Меншиков, личный враг царевича, желавший его гибели ради спасения собственной головы и своих детей?

Вслед за составлением суда, 14 июня, царевич был посажен в Петропавловскую крепость.

17 июня светские судьи потребовали его в свой суд в сенате.

Царевич оговорил Аврама Лопухина, своего дядю, будто он, во время пребывания царевича за границею, сообщал цезарскому резиденту Плейеру, что за царевича стоят и «заворашиваются» кругом Москвы, для того, что о царевиче ведомостей много; царевич оговорил своего духовника Якова Игнатьева; последний, некогда узнавши от царевича на

исповеди, что царевич желает отцу смерти, оказал: «Бог тебя простит, и мы желаем ему смерти».

Пытали Лопухина; расстригли и пытали три раза Якова. 19 июня настала очередь самому царевичу. Его пытали в крепости и дали 25 ударов кнутом, допрашивали: все ли то правда, что он писал в своих показаниях? Он подтвердил под пыткой, что все, сказанное им, правда, что он никого не поклепал и ничего не утаил. Тогда пытали вновь его бывшего духовника и дали ему ровно столько же ударов, как и его царственному духовному сыну.

22 июня, после обеда, по царскому повелению приехал в крепость Толстой и взял с царевича показание, а котором излагались причины его непослушания отцу. По тону этого показания видно, что оно писано с голоса, требовавшего, чтоб писали именно так, как было написано. Царевич обвиняет себя в ханжестве, а «конверсации» с попами и чернецами, в неохоте к воинским делам, в том, за что постоянно сердился на него Петр. Язык показания совсем не обычный язык царевича, слишком известный по его письмам; и язык и оклад речи — Петра. В конце царевич оговаривает императора, будто тот обещал ему вооруженную по-

[25]

мощь: «И ежелиб до того дошло, и цезарь бы начал то производить в дело, как мне обещал, и вооруженною рукою доставить меня короны Российской, то-б я тогда, не жалея ничего, достигал наследства, а имянно: ежели бы цезарь за то пожелал войск Российских в помощь себе против какова нибудь своего неприятеля, или бы пожелал великой суммы денег, то-б я все по его воле учинил, также и министрам его и генералам дал бы великие подарки. А войска его, которая бы мне он дал в помощь, чем бы достигать короны Российской, взял бы я на свое иждивение и одним словом сказать: ничего бы не жалел, только чтобы исполнить в том свою волю».

24 июня царевича повели на пытку; дали ему пятнадцать ударов. Он подтвердил прежние показания,

Тогда же дали 25 ударов Дубровскому, говорившему царевичу, что рязанский митрополит к нему добр, да и еще дали 9 ударов Якову Игнатьеву.

В этот же день, 24 июня, подписан был царевичу смертный приговор ста двадцатью членами суда.

25 июня Григорий Скорняков-Писарев ездил к царевичу допрашивать, что значат найденные в его бумагах выписки из Барония? Царевич сознался, что делал выписки «приличные на себя, отца и на других, чтоб видеть, что прежде было не так, как теперь делается», показывал их учителю Вяземскому, но не думал их рассеять в народе. Странно, что этот вопрос сделан был уже по окончании суда.

На другой день, 26 июня, съехались в восьмом часу утра в крепость царь с девятью сановниками (Меншиковым, Головкиным, Фед. Матв.

Апраксиным, Мусиным–Пушкиным, Стрешневым, Толстым, Шафировым, Бутурлиным и Як. Фед, Долгоруковым). Учinen был застенок, т. е. пытка. В 11 часов они разъехались.

В тот же день, как записано в книгах гварнизонной канцелярии, пополудни в 6 часу царевич преставился.

На другой день, 27 июня, была годовщина Полтавской битвы. Царь обедал на почтовом дворе в саду, вечером веселился. Тело его сына в 9 часу вечере вынесли в губернаторский дом.

На следующий день тело царевича перенесено было в церковь Троицы.

29 июня, в день царских именин, царь обедал в Летнем дворце, присутствовал на спуске корабля, а вечером был фейерверк и веселый пир до глубокой ночи.

Тело царевича лежало у Троицы. Июня 30–го, вечером, в присутствии царя и царицы тело царевича было предано земле в Петропавловском соборе рядом с гробом покойной супруги его. Траура не было.

Царевич гнил в земле, а дело его еще продолжалось. 8 декабря были казнены смертью обвиненные его показаниями: духовник его Яков Игнатъев, дядя его Аврам Лопухин, камердинер его Иван Большой Афанасьев, Дубровский и Воронов. Других били кнутом и вырезали им ноздри.

Царь опубликовал о смерти царевича, что он, выслушавши смертный приговор, пришел в ужас, заболел болезнью вроде апоплексии, исповедовался, причастился, потребовал к себе отца, просил у него прощения и так скончался по–христиански около 6 часов пополудни 26 июня. Этому описанию кончины царевича не все поверили; пошли слухи иного рода: что царевич умер насильственной смертью, но какую — говорили разно. Иностранцы, ловившие слухи, передавали за границу известия, будто царевич был опоен, будто ему отрубили голову и т. п. Одно бродившее по рукам и переписываемое, напоследок напечатанное (у Устрялова) письмо, составленное, как в нем сказано, Александром Румянцевым, описывает очень трагически, как Румянцев с Толстым и Бутурлиным, по царскому повелению, удушили царевича подушками; но

достоверность этого письма едва ли может выдержать строгую историческую критику⁷.

В записной книге гварнизонной канцелярии не говорится, чтобы в застенке в присутствии царя и девяти сановников пытали именно царевича; правда, и под 19 и 24 июня, когда мы наверное знаем, что пытали царевича, также говорится теми же словами: «Учинен застенок»; но и после, когда уже царевича не было на свете, в той же записке встречается подобное известие о застенке в присутствии царя. Таким образом, известие о застенке 26 июня может относиться к царевичу, но может относиться и не к нему. И мы думаем, едва ли оно к нему относится. Зачем пытаться его, когда уже ему объявлен смертный приговор, когда его собственная судьба окончилась? Плейер, бывший тогда в Петербурге, не знавший, конечно, подробностей розысков, секретно производившихся в крепости, но следивший за ходом событий, говорит, что заметил, как в день смерти царевича ездил к нему в крепость

⁷ Письмо это заподозрил уже г-н Устрялов; однако некоторые доказательства его поддельности, приводимые г-ном Устряловым, недостаточно сильны; напр., что письмо писано к некоему Дмитрию Ивановичу Титову, а г-н Устрялов не мог отыскать такого Титова. Но разве не могло быть у Румянцева близкого лица, неизвестного г-ну Устрялову? Или, девку Евфросинью Румянцев называет росту высокого, а граф Шенборн, видевший ее в мужской одежде, назвал ее *petit raqe*; во-первых, здесь выражение *petit* может относиться не к росту, во-вторых, женщина в мужском платье всегда покажется ниже, чем в женском. В письме говорится затем: царевичев обоз к Москве поспел V, с ними привезена девка Евфросинья. Г-н Устрялов думает, что Румянцев не мог сделать такой ошибки и не знать, что Евфросинья проехала из-за границы, а не из Москвы. Но мы не знаем, как везли Евфросинью: могли ее везти прямо в Москву, думая, что царевич там, а потом уже повезти в Петербург.

Гораздо важнее следующие несообразности, замеченные Устряловым; в письме, писанном от 27 июля, говорится, что Евфросинья в монастырь на вечное покаяние отослана, когда известно, что 5 июля того же года царь дал указ: «Девку Афросинью отдать коменданту в дом, и чтоб она жила у него и куда похочет ехать, отпуская бы ее со своими людьми», а в распределении вещей, оставшихся после царевича, писанном уже в ноябре 1718 г., показано много разных женских вещей, которые ведено отдать Бутурлину для передачи девке Афросинье; следовательно, она не была отдана в монастырь в июле 1718 года. Миллер, который жил близко к этому времени, говорит, что Евфросинья вышла за офицера с.-петербургского гарнизона. В письме Румянцева говорится, что Аврам Лопухин и Яков, духовник царевича, казнены достойною смертью, а между тем они были казнены гораздо позже, 27 июля, от которого будто бы писал Румянцев Титову, а именно они были казнены 8 декабря. Но главное, что бросает тень подозрения на это письмо, это то, что такой ловкий человек, как Румянцев, не решился бы поверить письму такую важную государственную тайну.

Некто кн. Козловский в 1844 году сообщил о разных материалах, относящихся, к Петру, будто бы полу-Примечания и комментарии Н. И. Костомарова ценных каким-то Чертковым чрез адъютанта фельдмаршала Румянцева из архива Румянцевых; в том числе он сообщил о письме Александра Румянцева к Титову в Рязань (Ивану Дмитриевичу, а не Дмитрию Ивановичу), о подробностях приезда царевича в Москву, о свидании его с царем и о его отречении от престола. Это письмо по своему тону походит на то, о котором мы упомянули, узнавши его из книги Устрялова. Замечательно, что в материалах, изданных кн. Козловским, приводимые им некоторые документы были уже напечатаны при Петре, но у Козловского отличны от напечатанных. Покойный Пекарский, на основании сходства слога письма Румянцева, напечатанного Козловским, с письмом о задушении царевича, склонялся к признанию подлинности и последнего. Но самые эти материалы, представляя несогласные редакции того, что уж было напечатано при Петре, едва ли могут приниматься без критики, пока не объяснится, что за причина такой разницы... Кроме того, мы не знаем, как стары списки письма о задушении, приписываемого Румянцеву. Г-ну Пекарскому в 1859 году было известно, что это письмо стало ходить по рукам назад тому не более пяти лет. В таком случае, что же мудреного, если какой-нибудь досужий любитель старины составил его по образцу того письма, которое было напечатано Козловским и которое, хотя также отзывается несколько церковно-книжною речью, не в меньшей степени, чем письмо о задушении, представляет черт, побуждающих отрицать его подлинность.

высшее духовенство и Меншиков; тогда в крепость никого не пускали, а к вечеру ее заперли. Из записок, которые велись в доме Меншикова, видно, что Меншиков бывал у царевича и царевич был очень болен, а к вечеру скончался. Из записок с.-петербургской гварнизонной канцелярии мы, как выше сказали, узнаем, что в это утро царь, Меншиков и другие сановники были в крепости, где был учинен застенок для кого-то, а в шестом часу а тот же день царевич скончался. Если сообразить все эти обстоятельства, то невольно приходишь к догадке, что после объявления смертного приговора духовенство — как сообщает Плейер — приходило к царевичу для христианского приготовления его к смерти; царь с вельможами приходил к нему прощаться, как это значит в известии, сообщенном самим царем о кончине сына, а затем смертный приговор был исполнен неизвестно каким образом.

Почитатели Петра видели в поступке с сыном, безусловно, великий подвиг принесения в жертву отечеству своего родного сына. Другие видели здесь только дурную сторону. Г-н Погодин изобразил царевича до того сочувственно, что, читая статью о суде над царевичем, пожалеешь, отчего такой прекрасный человек не царствовал у нас вместо самого Петра!

Если на поступок Петра смотреть с той нравственной точки, которая не может измениться ни при каких условиях времени, то этот поступок не имеет оправдания. Верность данному слову считалась всегда первую общественною добродетелью. Можно ли не назвать достойным порицания поступок Владимира Мономаха с половецкими князьями или императора Сигизмунда с Гусом на Констанцском соборе? Точно к такому же разряду относится поступок Петра, давшего сыну свое родительское обещание не наказывать его, а потом предавшего его мукам и смерти. Петр руководился здесь в значительной степени своими родственными чувствами. Он не любил Алексея, сына ненавистной, отверженной им жены, и хотел доставить преемство престола потомству Екатерины; это видно из того, что Петр начал отдавать Алексею на выбор: либо исправиться, либо отречься, тогда уже, когда у Алексея родился сын; отец продолжал налегать на него настойчивее, когда родился сын у Екатерины. Если бы у Петра не было такого побуждения, то, отрешивши Алексея от наследства, он мог назначить, по праву первородства, своим наследником внука, который был так же мал, как и рожденный чрез несколько дней после внука сын Петра, Петр Петрович. Петр надеялся воспитать себе достойного преемника в сыне, но ведь то же мог он сделать с внуком. Чтобы оправдать свой поступок и придать ему законный вид, Петр установил закон, по которому царствующий государь, мимо всякого права рождения, может отдавать после себя престол по желанию. Несостоятельность и неудобоприменимость такого порядка вещей показали в истории самого Петра; ему пришлось умереть, не воспользовавшись изданным законом, не указавши после себя преемника себе.

Несмотря на все это, надобно сознаться, что для

Петра, в его положении, представлялось выбирать что-либо одно: либо совершить жестокое дело, либо всю жизнь подвергаться страху заговоров и восстаний и быть всегда уверенным, что после его смерти наступят смуты и потрясения, которые могут окончиться истреблением его детей, его сотрудников, разрушением того государственного здания, над созданием которого он трудился всю жизнь.

Трагическая судьба Алексея Петровича оставляет в истории поучительный образчик того нравственного закона, по которому содеянная несправедливость влечет за собою необходимость совершить другую, иногда же целый ряд несправедливостей. Важность зла бывает соразмерна кругу, на который простирается влияние совершающего несправедливость. Петр в молодости совершил несправедливое дело с женою, от которой имел сына, долженствовавшего быть наследником престола. По естественному человеческому свойству этот сын с детства получил враждебное чувство к отцу; чувство это развивалось оттого, что сам отец не любил сына; сначала оставлял его без надлежащего надзора и руководства, потом, покоряясь необходимости существующей вещи, должен был признавать его тем, чем он был, т. е. единственным сыном и наследником; он хотел деспотическим и суровым обращением заставить его подражать ему и походить на него, но тем самым еще более утвердил в сыне то, что зародилось в детстве и получило первое развитие в отрочестве, т. е. вражду к отцу, а вместе с тем и вражду ко всему отцовскому направлению. Неизбежность рокового столкновения вытекает сама собой. Петр видит неспособность сына к престолу; он видит ее тем живее, что не любит этого сына; отцовское чувство не затмевает для него правды. В противоположность этой нелюбви к сыну Евдокии Петр любит Екатерину, любит ее детей, и тут-то, естественно, является у него мысль заменить нелюбимого сына другим, но, сохранивши, однако, по наружности, некоторого рода права. И вот Петр совершает еще одно несправедливое дело; он требует от сына невозможного — исправиться, быть не тем, чем сын был до тех пор; хочет перемены всего установившегося с детства существа своего сына, иначе грозит и отречением, и монастырем: «Я хуже, как с злодеем поступлю», — пишет он сыну. Сын боится уже не только насильственного пострижения, но и тайного убийства; сын чувствует, что он для отца лишний, что он ему мешает, что для отца всего приятнее было бы, если б умер сын его. Что могло быть естественнее для царевича в его положении, как спасти заранее свою жизнь? Сын убегает за границу, но убегает не затем, чтобы сыскать себе мирное и тихое пристанище, не думает он посвятить себя жребию частного человека; он убегает с сознанием своих прав и заявляет об этих правах соседнему государю. Что тут делать Петру? Оставить сына за границу? Невозможно! Мало того, что Алексей после отцовской смерти немедленно явится в Россию за отцовскою короною, — всякий час, когда Алексей будет в чужих краях, он опасен для Петра. Та страна,

где Алексей будет скрываться, будет иметь у себя такое пугало, посредством которого власти, управляющие этою страню, могут держать в покорности Петра и Россию; кроме того, враги и завистники России могут воспользоваться этим сыном для своих видов, а сын сделается их покорным орудием. Если б этот сын, убежавши из России, заявил пред целым светом, что желает проживать частным человеком, тогда иное дело; но Алексей этого не сделал; явившись к Шенборну, он первое слово пред ним произнес о том, что отец лишает его наследства, которое ему, царевичу, принадлежит по указанию самого Бога. Как же Петру оставить в покое такого претендента? Петр выманил его из-за границы родительским милостивым словом; Петр дал обещание, что, когда сын явится в отечество, ему не будет никакого наказания. Беглец поверил обещанию и воротился.

Что тогда делать Петру? Исполнить данное слово?

Но Алексей раз уже отрекся от наследства поневоле, а потом пред двором иноземного государя заявил о своих правах; отсюда логически вытекало, что и в другой раз, отрекшись от наследства так же поневоле, при удобном случае Алексеи сделает то же. Прощенный враг все-таки останется врагом, если в нем останутся убеждения, которые сделали его врагом: он не будет показывать своей вражды только до тех пор, пока это невозможно. Положение Алексея было не таково, чтобы Петр мог для него сделать невозможным когда-нибудь заявить свои права; сторонников, готовых поддержать эти права, нашлось бы всегда много на Руси.

Если допустить, что Алексей, под страхом допросов, наговорил на себя лишнее относительно своей готовности пристать к мятежному войску и идти с оружием против отца, то все-таки несомненно то, что, притворившись прежде пред отцом в готовности отречься от наследства, Алексей не думал от этого наследства отречься и при первом удобном случае предъявил бы свои права в ущерб видам и планам своего отца.

Петру оставалось совершить еще несправедливость — нарушить данное слово! И Петр решился на эту несправедливость.

Но следует ли особенно чернить и порицать Петра?

Вся история государств от начала мира преисполнена неправдами: одна другую порождает; одною хотели исправить другую и через то, невольно спасая самих себя, совершали третью, четвертую и т. д., а, совершая их, были уверены в том, что они необходимы, и старались уверить других, что так следует по законам правосудия. Так делалось издавна, всегда, повсюду. «Всяк человек ложь», — сказал некогда Псалмопевец, и великий Петр недаром повторил эту истину в одном из своих писем к царевичу Алексею.

[27]

Н.И. Костомаров. Самодержавный отрок.

[28]

После трагической кончины царевича Алексея Петровича осталось двое сирот его — дочь Наталья и сын Петр. По принятому в Русской земле предпочтению мужского пола пред женским, великий князь Петр Алексеевич, хотя и моложе сестры своей, с детства должен был считаться законным наследником престола. Петр Великий понимал, что такое право будут признавать за этим младенцем (великий князь Петр Алексеевич родился 12 октября 1715 года), однако сам не желал, чтобы внук воспользовался этим правом. Отвращение к сыну, рожденному от ненавистной Евдокии Лопухиной, а душе царя переходило и на потомство этого нечастного сына. Петру хотелось доставить престол потомству своей любимой Катеринушки. Петр объявил своим преемником рожденного от ней сына Петра Петровича, носившего на семейном языке родителей и нянек название «шишечки». Но не сбылись надежды государя: его «дорогой шишечка» умер, не достигши даже отроческих лет. Чрезвычайно скорбел о нем родитель, но не перенес своей привязанности на внука, хотя, как рассказывают, в минуты досады склонялся иногда к мысли признать право внука. Однако он ни разу гласно не заявил этой мысли. Напротив, в 1722 году он обязал своих подданных присягой заранее повиноваться тому неизвестному лицу, кого царю угодно будет после себя объявить своим преемником. Русь дала такую странную присягу, потому что Русь привыкла исполнять без сопротивления все, что прикажут сверху, но Русь не переставала признавать по праву наследником престола законного сына царевича Алексея.

Маленький Петр лишился матери тогда еще, когда не в силах был знать ее. Кронпринцесса Шарлотта оставила его вместе с его сестрой под надзором няньки, или гофмейстерши Роо, родом немки. Когда царевичу Петру было три года от роду, он в своих детских забавах выказывал любознательность, подававшую утешительные надежды: он пожелал, чтоб ему сделали батарею с пушками, из которых сам палил; он также упражнялся в стрельбе из маленького ружья (Weber, III, 92). Потом надзирателями за ним были женщины «неважной кондиции», одна — вдова портного, другая — вдова какого-то трактирщика, а танцмейстер Норман учил его чтению и письму и сообщал первоначальные сведения о морском деле, так как сам служил прежде во флоте. В 1719 году, следовательно, тотчас после смерти его родителя, был к нему назначен воспитателем, или дядькой, некто Маврин, бывший при дворе пажом, потом носивший звание камер-юнкера, а в 1723 году был у Петра учителем венгерец Зейкин. Как мало обращал внимания на воспитание внука Петр Великий, показывает то, что, когда какой-то наставник великого князя Петра Алексеевича с восторгом говорил царю об успехах своего питомца и убеждал царя лично пожаловать на экзамен, государь

не исполнил его приглашения. По известиям прусского посланника Мардефельда, бывшего в России в конце царствования Петра Великого и в последующие за смертью его годы (Сборн. Р. Ист. Общ. XV, 241—242), Петр умышленно не заботился о воспитании внука, давая тем ясно понять, что не хочет, чтоб этот ребенок взошел когда-нибудь на престол. В последние два года Петрова царствования общее мнение в России было таково, что царь, любя более всех в своей семье великую княжну Анну Петровну, для нее готовил преемство престола; брак с этой великой княжной был важным по своим последствиям событием, потому что должен был установить вопрос о преемничестве, и будущий муж Анны Петровны мог открыть для России новую царственную династию. В Петербурге думали, что наследники всех европейских престолов станут добиваться руки дочери царя Петра. Были предложения от имени наследного испанского принца, от имени прусского наследного принца, от имени герцога шартрского, но всех более посчастливилось голштинскому герцогу, родному племяннику короля Карла XII, претендовавшему, не без основания, на шведскую корону после дяди. Этому принцу посчастливилось оттого, что он несколько лет сряду в качестве изгнанника, ищущего покровительства своим правам, проживал в России и мог лично сойтись с великою княжною. Притом ему покровительствовала и любила его Екатерина, и это, как уверяет прусский посланник, происходило у последней небескорыстно: она хотела выдать дочь поскорее замуж, чтобы, в случае смерти мужа, самой сделаться царицей и не иметь соперницы в дочери, которую могли возвести, зная особую любовь к ней родителя. Предпочтение, которое оказывал Анне Петровне царь Петр, совпадало с характером, душевными свойствами и сочувствиями великой княжны. Это была особа умная, любившая заниматься серьезными предметами, очень любознательная, не терпевшая русских обычаев и склонная к усвоению всего иностранного. Такая была по сердцу Петру, хоть бы и не была его дочерью. Совершенную противоположность должен был представлять великий князь Петр. Собственно личность его не могла еще ясно выразиться, но, будучи еще младенцем, он уже лелеял надежды и желания приверженцев старины, сторонников чисто русского направления, а к таким принадлежали и многие боярские фамилии, и большая масса русского народа. В то время какие-нибудь тридцать лет реформаторской Петровой деятельности не успели образовать ту бездну, которая впоследствии выработалась временем между высшими слоями русского общества и черным народом. Число понемеченных русских все-таки не превышало массы тех, что продолжали всем существом своим тянуться к заветной старине, и у многих под европейскими кафтанами и андреевскими звездами, билось сердце с теми ощущениями, какие слышались в сердце каждого русского простолюдина. Маленький великий князь Петр был сын царевича Алексея, которого сам отец последнего, царь Петр, выставлял сторонником старых русских обычаев и противником от-

цовских преобразований. За этого Алексея была в оное время вся русская старина; Алексея не стало; старолюбцы оплакивали его, своего вожака, свою надежду; но у Алексея был сын; он, этот сын, еще был малолетен, но со временем вырастет и станет заступником старолюбцев, следуя по стопам своего несчастного родителя. Этот малолеток делался заранее знаменем старолюбцев, каким был для них некогда царевич Алексей Петрович. Петр Великий не любил его и не заботился о его воспитании: тем лучше, значит, Алексеев сын не будет испорчен в детстве, и выйдет из него чистый русский, какого старолюбцам и нужно было! А между тем современники, видевшие этого ребенка, говорили в один голос, что он кроткого нрава, доброго сердца, весь в мать, которая хотя немка, но была святой жизни женщина, а красота этого ребенка просто ангельская. А к сестре своей какую чрезвычайную любовь и нежную дружбу питает... прелесть, что за мальчик!

И этого-то мальчика не любил дедушка, не любил, между прочим, оттого, что слишком был сам умен и знал человеческую природу: он понимал, что внук его не забудет судьбы своего родителя и станет ему все то милым, за что потерпел его родитель. Трагическая смерть царевича Алексея произвела всеобщую скорбь: проявлять ее гласно не смели русские люди, но в глубину сердец их не могли проникнуть происки никаких тайных канцелярий и Преображенских приказов. Даже большая часть подписавших приговор над Алексеем сделала это из страха. Понятно, что, за исключением немногих, вроде Толстого и Румянцева, показавших лично злобу к царевичу, все готовы были обратить симпатии свои к царевичеву сыну. Царствование Петра Великого для всех было не легким; многие не прочь были видеть царя с направлением, обратным Петрову, а такого направления ожидать могли именно от сына царевича Алексея. Притом многовековая привычка видеть на престоле прямых наследников по крови бывших государей так укоренилась в русском народе, что никакие новые указы не в силах были истребить ее скоро: русские привыкли уже считать от самого Бога установленным правилом, что сыновья наследуют после отцов. Наследником Петра Великого был сын его Алексей. Не стало Алексея, но был у Алексея сын — стало быть, этот сын должен быть наследником русского престола. Так смотрела вся Русь вопреки требованиям царя признать в свое время того, кого он пожелает наименовать преемником после себя. Впрочем, царь Петр до самой своей кончины не показал даже никаких намеков, кого бы он желал видеть своим преемником. Он требовал, чтобы все с покорностью дожидались того часа, когда ему угодно будет объявить об этом, и не терпел, когда дерзали его об этом спрашивать. Рассказывают, что он не на шутку рассердился на Феофана Прокоповича, который, видя, что Петр оказывает особое расположение к своему будущему зятю, голштинскому герцогу, и думая угодить царю,

стал хвалить этого герцога и делать намеки, что этот будущий супруг русской великой княжны мог бы с достоинством занять русский престол.

Когда Петр короновал жену свою Екатерину, тогда многие видели в этом поступке желание сделать ее после себя преемницей на престоле. Не станем безусловно доверять оказанию Феофана Прокоповича, будто накануне коронации Екатерины Петр говорил о причинах, побуждающих его к этому поступку: что он после себя хочет предоставить ей престол. Конечно, Феофан, сообщая это известие уже после кончины царя, мог так говорить в угоду Екатерине; но то несомненно, что эта коронация была единственным фактическим доводом желания Петра, чтобы его жена после него вступила на царство, и, правду сказать, иным ничем, кроме такого желания, нельзя было объяснить этого поступка царя. Россия верила, что у Петра было это желание, и эта вера утверждала право Екатерины в то время, когда она царствовала. Ей повиновались, считали, что она взошла на престол по воле покойного государя, но ее не любили и не хотели, чтоб она господствовала или, что все равно, чтоб сильные земли господствовали ее именем. Еще никогда на Руси не была возводима на престол женщина и не предоставлялось ей права царствовать самобытно без мужчин. Такая новизна порождала соблазн. Чувство законности, вытекающей не из постановлений, изданных таким-то государем в такое-то время, а из естественного порядка и нравственных понятий, освященных веками, влекло сердце русских к великому князю, сыну несчастного царевича Алексея. На сторону этого отрока склонялась и масса простого русского народа и духовенства, и люди родовитые, князья, потомки древних Рюриковичей и Гедиминовичей: Голицыны, Репнины, Трубецкие, Долгоруковы, и вновь поднявшиеся в одну версту со старинными родами: Головкины, Нарышкины, Салтыковы. Кроме чувства законности, которое родовитые особы разделяли со всей массой русского народа, их лелеяла мысль об ограничении самодержавной власти, а органом этого ограничения могли быть именно они в качестве высшего класса нации. Познакомившись по воле покойного государя с западноевропейскими порядками, они узнали, что во многих западных странах верховная власть не пользуется таким неограниченным произволом, как в России, и, прельщаясь этим, желали, чтоб и в своем отечестве явилось то же. Сам Петр заимствовал коллегиальное устройство из Швеции; неудивительно, что туда направились и пожелания родовитых русских людей: узнали они, что именно в Швеции государственный совет так много значит, что ставит преграды верховной королевской власти; то же русским вельможам хотелось завести и у себя; и, естественно, возникли надежды, что всего успешнее это могло осуществиться и пустить первые ростки во время малолетства государя, когда по необходимости вместо него должны будут управлять делами государства его вельможи. Еще во время кончины Петра Великого, воли верить Бассевичу (Р. Арх. 1865, стр. 621), в Петербурге составлялся заговор с целью заключить Екатерину вместе с ее дочерьми в монастырь, возвести на престол великого князя Петра и

восстановить старые порядки, все еще дорогие не только простому народу, но и большей части вельмож. У заговорщиков была надежда на армию, находившуюся в Украине и состоявшую под командой князя Михаила Голицына, Но, к счастью для Екатерины, узнал об этом впору Меншиков. Нет нужды повторять здесь обстоятельств при которых провозглашена была Екатерина; столькоже добродушная, как и умная от природы, Екатерина не стала преследовать заговорщиков — это значило бы идти против общественного мнения, которое тогда было за право великого князя Петра Алексеевича, Впрочем, наиболее видные и влиятельные сторонники последнего были фактически понижены в царствовании вдовы Петра Великого. У Репнина отнял власть Меншиков; канцлер Головкин, при избрании Екатерины заявивший, что не худо было бы услышать об этом голос народа, должен был замолчать, Василий Лукич Долгоруков удален был в Варшаву послом, а Остерман, постоянно державшийся стороны великого князя, вовремя успел притвориться больным и через то впоследствии поставил себя так, что во все царствование Екатерины продолжал оставаться у дел. Сделавшись самодержавной государыней, Екатерина постоянно оказывала знаки любви и внимания великому князю, и это помогло тому, что ее короткое царствование прошло без важных потрясений. Его особа как внука Петра сына того, кто стал для многих народным мучеником, была священна, и чем более он возрастал, тем сильнее сердца обращались к нему. Это—то главным образом произвело крутой поворот в направлении Меншикова, который из противника вдруг стал привержен-

[30]

цем малолетнего великого князя. Будучи некогда одним из виновников гибели царевича Алексея, Меншиков, естественно, должен был страшиться, что сын этого царевича Алексея, вступивши в возраст, не помянет добром гонителей родителя его, а Меншикова тем более, когда узнает, что и после Петра Великого Меншиков действовал против тех, которые готовы были заступиться за права законного наследника престола. Между тем уже делалось очевидным, что, сколько бы Меншиков ни старался, все его усилия будут напрасны; Петр станет государем мимо воли Меншикова, и Меншиков будет одной из первых жертв его, и защитить его некому тогда будет. Это делалось явным для Меншикова тогда, когда, добиваясь Курляндского герцогства, он увидел, что Екатерина не помогает его честолюбивым видам настолько, насколько бы ему хотелось. На Екатерину все более и более имел влияние голштинский герцог, зять государыни; этот герцог не любил Меншикова, да и Меншиков не любил герцога. Не без этого влияния произошло и то, что по курляндскому вопросу о поступках Меншикова поручено было произвести дознание заклятому врагу Меншикова Девиеру. Императрица, зная неприязненные их отношения между собой, во все свое царствование благоволила к Девиеру и теперь хотела явно показать светлейшему князю, что не намерена состоять у него в покорности. В то

время, как Меншиков находился в Курляндии, голштинский герцог провел в Верховном тайном совете постановление, чтоб никакой указ не был издаваем без подписи государыни или Верховного совета. Во всех делах Меншиков видел и чувствовал, что герцог вредит ему, опасается его и строит против него ковы. Хотя наружное согласие не прерывалось между обоими соперниками, но оба они знали, что один другому не друг. А между тем Меншиков, придерживаясь строго партии императрицы и дочерей ее, против прав великого князя Петра, должен будет работать для своего врага, голштинского герцога: ведь может же быть объявлена наследницей старшая дочь Екатерины, жена голштинского герцога. Даже если предположить, что не Анна, а другая дочь, Елисавета, будет объявлена преемницей Екатерины на престоле, для Меншикова все-таки не много от того верной надежды. Елисавета могла выйти замуж за какого-нибудь иноземного принца, и с ней вместе на русский престол воссел бы иноземец, и для этого-то иноземца Меншиков будет прокладывать дорогу! Иное дело, когда бы у Екатерины был сын, тогда Меншиков едва ли бы стал долго колебаться между сыном Екатерины и сыном царевича Алексея и, конечно, принял бы сторону первого, и держался бы ее крепко. Но теперь представлялось выбирать: или пристать к стороне великого князя Петра, от которого можно было опасаться мести за родителя, или же стоять за дочерей Екатерины и трудиться либо для своего врага — голштинского герцога, либо кто знает для кого в особе будущего мужа Елисаветы. Такой вопрос путем здравого размышления приводил Меншикова на сторону великого князя. Светлейший видел и знал, что народ станет за Петра, и потому все усилия Меншикова в пользу дочерей Екатерины могут оказаться напрасны и губельны для него самого. А великий князь был так силен в народном сочувствии к нему, что если бы Меншикову удалось объявить одну из дочерей Екатерины ее преемницей, если бы даже принесена была на верность новой государыне присяга, и тогда великий князь Петр Алексеевич без партии бы не остался. Его положение походило на положение его родителя в то время, когда Петр Великий хотел ограничиться тем, чтоб заставить его отречься от своих прав на престолонаследие в пользу брата. Сам же великий государь пришел скоро к тому убеждению, что это было бы напрасно: цель этим путем не была бы достигнута. Алексея непременно вытянули бы из бездействия и заставили сделаться если не вожаком, то значком партии, противной Петру и его преобразованиям. Точно так теперь, при государыне Екатерине, было то же с сыном царевича Алексея. Около этого малолетнего великого князя группировалась партия, которая брала себе мальчика за значок. Разные побуждения завлекали русских в эту партию: одни видели в этом отроке воскресителя старины, других привлекало к нему чувство законности или виды на ограничение самодержавия, как мы заметили выше, а некоторые имели в виду собственные выгоды и возвышение, как всегда бывает при переменах. Как ни разнообразны могли быть побуждения, привлекавшие к царственному отроку, все-таки

в результате выходило, что у Петра готово было явиться так много сторонников, что отважиться на борьбу с ними было бы дело чересчур рискованное и опасное. Это знал Меншиков, и не мог он этого не знать, после того как в Тайную канцелярию к генерал-майору Ушакову чуть не каждый день привозили провинившихся в том, что предпочитали права на престол великого князя Петра Алексеевича правам императрицы Екатерины Алексеевны; а у некоторых духовных лиц уважение к великому князю доходило до того, что они не боялись помянуть его имя на ектеньях в богослужении как законного наследника престола.

Соображая все это, Меншиков пришел к мысли из противника сделаться сторонником и защитником прав великого князя Петра Алексеевича. К этому настроил его цесарский посланник Рабутин. В интересах римского императора естественно было тогда домогаться, чтобы после императрицы Екатерины был объявлен наследником великий князь Петр Алексеевич, свойственник императора Карла VI, сын сестры императрицы. Кроме этих родственных связей, много пользы надеялось извлечь для себя имперское правительство от вступления на русский престол этого отрока. Рабутин первый подал Меншикову мысль перейти на сторону Петра и тем угодить императору. Заодно с Рабутином действовал на Меншикова датский посланник Вестфален, который, в видах своего правительства, хотел не допустить голштинского герцога до престолонаследия в России. Но, чтоб обезопасить себя от мести со стороны великого князя за родителя, Меншиков, также следуя совету Рабутина, положил женить наследника русского престола на своей дочери. Таким образом, когда этот наследник станет императором, сколько бы ни старались озлобить его против врагов его родителя, чувство мести к Меншикову сталкивалось бы в нем с чувством уважения к своему тестю. Но Меншикову оказывалось нужным заранее оградить себя по этому поводу. Иначе великий князь мог дать обещание жениться на дочери Меншикова, а потом отречься от такого обещания. Меншикову казалось, что для предупреждения такого несчастья полезно будет устроить это дело теперь, пока жива Екатерина. Обвенчать великого князя с княжной Меншиковой теперь же было невозможно: великий князь не достиг совершеннолетия. Но можно было связать его на будущее время волею императрицы-бабушки. Сама судьба, или стечение обстоятельств, помогли в этом Меншикову. Екатерина очутилась как бы в долгу сделать для Меншикова угодное.

Сын польского выходца Сапеги, получившего в России звание фельдмаршала, прекрасный молодой человек, пленявший взоры и сердца красавиц петербургского высшего общества, возымел было желание сочетаться браком с княжной Меншиковой, но потом, по старанию Екатерины, вознамерился жениться на племяннице императрицы, Скавронской. Это обстоятельство подало Меншикову смелость просить государыню в замену отнятого у его дочери жениха благоволить дать ей другого, дозволить жениться на ней великому князю. Императрица в это

время была уже больна и ослабела духом. Она на все согласилась. Узнали об этом ее дочери и противники Меншикова, на

[31]

челе которых очутился тогда Толстой, бывший недавно еще его другом. Они соображали, что из этого может последовать такое возвышение временщика, которое для них всех будет небезопасно; они просили Екатерину не допускать до этого. Императрица говорила им в утешение, что данное Меншикову соизволение на брак великого князя с его дочерью не решает вопроса о престолонаследии. Вслед за тем Меншиков подсунил больной государыне завещание, по которому престол назначался великому князю Петру, а двум дочерям императрицы давалось по 300 000 рублей на приданое, по 100000 рублей каждой в год до совершеннолетия будущего государя и по одному миллиону каждой единовременно, да вдобавок все туалетные украшения и все столовое серебро и золото; а местности и земли, составлявшие частную собственность государыни, предоставлялись ее родственникам Скавронским. В завещании своем императрица поручала великому князю жениться на Меншиковой, а дочери Елисавете выйти замуж за епископа любского, двоюродного брата голштинского герцога. Управление государством до совершеннолетия Петра поручалось администрации, состоящей из двух цесаревен, голштинского герцога и прочих членов Верховного тайного совета в числе девяти особ, между которыми дела решаться должны по большинству голосов. Великий князь, достигший совершеннолетия, не должен требовать отчета от администрации. Россия обязывалась содействовать голштинскому герцогу получить Шлезвиг и шведскую корону. Цесаревнам предоставляется свободный выезд за границу, но для герцога голштинского надлежит купить от казны дом в Петербурге. Права потомству цесаревен по старшинству их между собой предоставляются только тогда, когда бы не осталось потомства от великого князя. Это завещание уничтожало указ Петра Великого о назначении наследника от произвола царствующего лица и возвращало права великому князю по его происхождению.

Завещание вскрыто было на другой день по кончине императрицы, 7 мая 1727 года. Что Меншиков распорядился волей находившейся в предсмертном томлении государыни, это понятно, но решить невозможно, в какой степени и по каким побуждениям согласиться должны были на все цесаревны. Девиер и другие товарищи были осуждены именем императрицы в день ее кончины и затем сосланы.

На другой день после смерти Екатерины, в пять часов утра, созвана была гвардия, состоявшая тогда из двух полков, Преображенского и Семеновского; она была расставлена у окон дворца. В дворцовую залу, где собирался обыкновенно Верховный тайный совет, созвали весь генералитет, знатнейших духовных сановников, знатное шляхетство, всего было до трехсот человек. Будущего императора посадили на высоком месте. Меншиков приказал распечатать и громко прочитать

завещание императрицы Екатерины. Все единогласно закричали: виват! Все присутствовавшие двинулись в церковь. По совершении литургии опять все отправились в залу. Молодой царь сел на возвышении под балдахином на кресле; по правую сторону от него сидели на стульях цесаревна Анна с своим супругом, великая княжна Наталья Алексеевна, сестра нового государя, и великий адмирал Апраксин, а по левую — также на стульях сидели цесаревна Елисавета, Меншиков, канцлер Головкин и князь Дмитрий Михайлович Голицын. Остерман стоял подле императорского кресла. Снова прочли завещание и решили записать его в протокол.

Тут фельдмаршал Сапега заметил, что он не отходил от постели умиравшей государыни и никакого завещания не видал, и ничего от нее о таком завещании не слышал. Но на это замечание не обращено было внимания, и самому завещанию по вопросу о возведении на престол Петра не придавали значения. Завещание имело важность по отношению к цесаревнам и родственникам императрицы. Что касается престолонаследия, то без всяких завещаний Русская земля давно уже признала права Петрова внука.

Одиннадцатилетний император в этот же день произнес несколько пожалований: между прочими Меншиков возведен был из вице-адмиралов в адмиралы, а сын его, Александр, сделан обер-камергером.

Трудно было желать более полного единодушия, чем то, какое сопровождало восшествие на престол Петра II. Все радовались, что отменился нелепый и опасный закон, навязанный России Петром Великим, закон, предоставлявший царствующему государю назначать себе преемника, не руководствуясь никакими соображениями о первородстве. Теперь восстанавливалось укоренившееся в народном сознании понятие о том, что государи получают свои права не от человеческих умыслов, а от непостижимой воли самого Бога. Петр II вступал по праву первородства, без возражений, без объяснений; все были довольны.

Много было надежд на хорошее царствование. О молодом государе говорили, что он очень добр и любит справедливость, а о его воспитании будет приложено старание со стороны умных людей. Рассказывали, что на другой день после своего возведения на царство он написал к своей сестре Наталье письмецо такого содержания:

«Богу угодно было призвать меня на престол в юных летах. Моею первою заботою будет приобрести славу добраго государя. Хочу управлять богобоязненно и справедливо. Желая оказывать покровительство бедным, облегчать всех страждущих, выслушивать невинно преследуемых, когда они станут прибегать ко мне, и, по примеру римскаго императора Веспасиана, никого не отпускать от себя с печальным лицом».

Эти слова, написанные в этот день на письме, были произнесены государем в заседании Верховного тайного совета 21 июня.

Такие поселяющие надежду известия разносились о новом государе. Приверженцы старины были очень довольны восшествием на престол сына царевича Алексея и пророчили возвращение для России всего, что к их досаде было изломано, уничтожено Петром Великим. Но не унывали тогда и сторонники петровских преобразований, так как во главе руководящего управления государством на время малолетства государя был Меншиков, любимый сподвижник Петра, а воспитателем царствующего отрока был назначен Остерман, умный иноземец, умевший обрусеть в России. Приводя программу воспитания малолетнего государя, Вебер (Verandert. Russl., III, 93) говорит, что можно утвердиться в Пифагоровом учении о переселении душ, глядя как гений Петра Великого переходил в государственных людей его века.

Меншиков начал с того, что послал известить страдавшую в заточении в Шлиссельбурге бабку императора, первую супругу Петра Великого, Евдокию Лопухину, постриженную насильно под именем инокини Елены. После несчастного процесса над ее сыном, царевичем Алексеем, привлеченная к этому процессу, всенародно ошельмованная опубликованием ее связи с Глебовым, несчастная узница отправлена была в Ладожский монастырь на строжайшее заключение, но потом переведена была в Шлиссельбург. По известию иностранцев, от нее отнята была прислуга, оставлена была только одна карлица, которая для нее была бесполезна, и бывшая царица должна была сама себе мыть белье и подметать свою комнату. Никто к ней не допускался, и даже те офицеры и солдаты, которые стояли на карауле, были обыскиваемы в предупреждение, чтоб кто-нибудь из них не приносил какого-нибудь письма к царице или от нее не принимал к кому-нибудь. Говорят, будто такое стеснение постигло ее особенно по злобе императрицы Екатерины, но, чтоб об-

[32]

винить последнюю в такой жестокости, мы не имеем никаких оснований, кроме известий, сообщаемых иностранными книгами, а их составители писали по слухам, не будучи сами близки к делу (Neu. Miscellanien. 179, 180).

Теперь эта несчастная страдальца вдруг узнала, что внук ее достиг престола. Меншиков, извещая ее об этом, именем ее царствующего внука, просил ее благословения внуку на брак его с княжною Меншиковою. Вместе с тем вывели ее из запертой тюрьмы, перевели в просторные комнаты, прислали ей белья, платья, прислугу, столовые приборы, дали обстановку, более приличную для бабки государя императора.

Чтоб держать в руках несовершеннолетнего государя, Меншиков перевел его из дворца в свой дом на Васильевском острове. Предлогом к такому переселению послужило то, что неприятно было оставаться в том дворце, где так недавно скончалась императрица и где еще лежало ее непогребенное тело. Меншиков уступил для государя половину своих

просторных палат и, сверх того, еще домик в своем саду, примыкавшем к палатам. Государь очутился как будто в плену у Меншикова, так что ни с кем он не мог ни видаться, ни беседовать. Остерман, с титулом обер-гофмейстера при особе императора, занимался обучением его. Прежние воспитатели Петра, Маврин и Зейкин, были отдалены. Маврин был заподозрен Меншиковым в участии в заговоре с Девиером и отправлен в Тобольск в почетную ссылку под предлогом поручений по службе. После был удален от воспитательства и Зейкин, а чрез несколько времени отпущен на свою родину в Венгрию.

Двенадцатого мая одиннадцатилетний император, помещенный в доме Меншикова, вошел в отделение, оставленное князем для себя с семейством. Он застал там у князя нескольких вельмож. «Я сегодня хочу уничтожить фельдмаршала», — сказал он. Все, стоявшие тут, переглянулись между собой, не понимая, в чем дело. Тогда Петр подал Меншикову бумагу; это был подписанный рукой государя патент на чин генералиссимуса. Напрасно домогался этого чина при Екатерине зять ее, герцог голштинский.

Через четыре дня после этого производства Меншикова в генералиссимусы, 16 мая, совершилось погребение императрицы обычным образом в Петропавловском соборе, а 22-го числа того же месяца совершилось другое событие, которое должно было укрепить могущество Меншикова. Члены Верховного тайного совета приехали к Меншикову в дом: Меншиков предложил на обсуждение вопрос об исполнении воли покойной императрицы, благословлявшей своего наследника и внука императора Петра вступить в брак с княжной Меншиковою. Все члены Верховного тайного совета без возражений согласились и составили протокол. Воля императрицы в ее завещании была выражена так ясно и положительно, что спора об этом не могло быть допущено. Тайный советник Степанов отвозил составленный протокол в Екатерингоф для подписи голштинскому герцогу и двум цесаревнам. Они все находились тогда в Екатерингофе и держали карантин по поводу распространившейся в Петербурге эпидемической оспы, от которой умер жених принцессы Елисаветы, епископ любский. И они все трое подписали протокол; никакого противоречия невозможно было поставить.

В четверг 24 мая совершилось обручение молодого царя с княжной Мариєю Александровною. Обряд совершен был архиепископом Феофаном Прокоповичем. После обряда все присутствовавшие стали приносить новообрученным поздравления, сделалась большая давка, все целовали государю руку, а государь целовал поздравлявших в уста и, по обычаю того времени, подносил своими руками в кубках венгерское вино. Прежний жених теперешней царской невесты Сапега был здесь же и оказывал Меншикову знаки уважения и любезности. Мария Александровна в качестве царской невесты тогда же получила титул высочества, ей назначен был особый штат и содержание в 34 000 р. в год. На все согласились члены Верховного тайного совета в угоду

могучего Меншикова. Но царь был отрок и не показал при этом важном событии в своей жизни той нежности, какую можно было бы требовать от жениха к невесте. По окончании обряда своего обручения он уехал в Петергоф на охоту.

Царский воспитатель, барон Андрей Иванович Остерман, принадлежал к числу редких по уму людей, обладающих притом изумительным житейским тактом. Вестфалец родом, чуждый России по происхождению, по воспитанию и по симпатиям, которые привлекали его как немца к немецкой народности, этот иноземец более всех других иноземцев, привлеченных в Россию Петром Великим, понял, что, поселившись в чужой стране, надобно посвятить себя совершенно новому отечеству и сжиться с духом, нравами, особенностями того общества, среди которого будет течь новая жизнь. Остерман был по происхождению незнатный человек: он был не более как сын пастора. Поступивши студентом в Йенский университет, он не окончил там курса по причине несчастного случая: в буйной студентской пирушке, подпивши с товарищами, он поссорился с одним студентом, вышел на дуэль и проколол шпагой своего соперника. После того уже нельзя было ему оставаться в университете. Он уехал в Голландию и там, в Амстердаме, встретился с русским вице-адмиралом Крюйсом, который по поручению Петра Великого вербовал в Россию на службу разных полезных и сведущих людей. Остерман поступил к нему как частный человек. Это было для него тем удобнее, что старший брат Остермана находился уже в России на царской службе. Время поступления меньшего Остермана к Крюйсу было в первых месяцах 1704 года. От частной службы у Крюйса Остерман скоро перешел в государственную и занялся изучением русского языка. В этом он не был похож на большую часть тогдашних иноземцев, искавших счастья в России: они обыкновенно смотрели на Русь и на русский язык свысока, считали себя просветителями и благодетелями варварской страны, в которую переселялись, и не признавали нужным знать по-русски: русские-де, как варвары, обязаны учиться речи образованных народов, а не люди образованные их варварскому, дикому языку. Так смотрело большинство иноземцев; не так взглянул на это Остерман. Как только поселился он в России, тотчас принялся за русский язык и при своих блестящих способностях в течение двух лет усвоил его себе так, как только мог усвоить в те времена прилежно старательный иноземец. Нужна была Петру о каком-то предмете записка, и ему подали ее написанной по-русски в таком виде, что она очень понравилась государю. Он спросил, кто ее составлял, и узнал, что автор ее иностранец, всего не более двух лет живущий в России. Петр умел с первого раза оценивать людей и взял составителя записки в свою канцелярию. Через несколько времени он уже поверял ему важные секретные государственные бумаги. «Никогда ни в чем этот человек не сделал погрешности», — говорил о нем Петр впоследствии. «Я поручал ему писать к иностранным дворам и к моим министрам, состоявшим при чужих дворах, отношения по-немецки, по-

французски, по-латини; он всегда подавал мне черновые отпуски по-русски, чтоб я мог видеть, хорошо ли понял он мои мысли. Я никогда не заметил в его работах ни малейшего недостатка». В 1711 году во время несчастного Прутского дела Остерман принимал немаловажное участие, но деятельность его во всей широте проявилась во время переговоров со Швецией, тя-

[33]

нувшихся с 1718 по 1721 год; хотя он числился там вторым лицом подле генерал-фельдцейхмейстера Брюса, но был душой всего дела, состоя в звании тайного советника. При Ништадтском мире Россия осталась навсегда обязанною Остерману удержанием Выборга. Петру хотелось удержать за собой этот город, но русский царь, утомленный продолжительной войной, еще более нуждался в мире и потому предписывал Остерману не упорствовать чересчур из-за Выборга и уступить его шведам, если они будут угрожать прервaniem переговоров. Остерман хотел во что бы то ни стало сохранить для России этот город, между тем участвовавший вместе с ним Ягужинский был того мнения, что Выборг следует уступить, и собирался ехать к государю для взятия от него решительного повеления об отдаче Выборга. Остерман сговорился с комендантом в Выборге, генералом Шуваловым, и упросил его задержать у себя Ягужинского во время отправки его к государю, а между тем он постарается настоять на уступке Выборга России. Так и сделалось. Шувалов начал угощать Ягужинского, вообще склонного к пиршествам, продержал два дня в Выборге, а Остерман успел добиться своей цели: шведские уполномоченные, желая также скорейшего мира с Россией, согласились в это время на уступку Выборга: если б этого не сделал Остерман, Ягужинский, представивши государю о необходимости ради примирения сделать шведам уступку, лишил бы таким образом Россию этого важного города. В эту эпоху Ништадтского мира Остерман показал царю свою заботливость о сохранении казенного интереса: государь дал ему сто тысяч червонцев на подкуп шведских уполномоченных. Остерман употребил всего десять тысяч, а девяносто тысяч возвратил обратно казне. Это было очень по сердцу Петру, который всегда берег государственное достояние и строго наказывал казнокрадов. После Ништадтского мира Петр пожаловал Остермана титулом барона, а в 1723 году, после низложения Шафирова, дал ему должность вице-канцлера. Незадолго до своей смерти Петр отзывался о нем, что этот человек лучше всех постигает истинные выгоды Русского государства, и Россия без него не может обходиться. При Екатерине Остерман продолжал занимать должность вице-канцлера, произведен был в действительные тайные советники и украшен орденом св. Андрея Первозванного. При своей важной вице-канцлерской должности он заведовал почтовым ведомством и торговлею, а пред концом царствования Екатерины назначен был воспитателем великого князя Петра Алексеевича и его обер-гофмейстером, с сохранением прежних должностей и своего места в

Верховном тайном совете. Этот человек, при необыкновенном природном уме, владел большой начитанностью и высоким разносторонним образованием, которое он успел получить сам, несмотря на то, что шалости молодости не допустили его окончить университетского курса. Это был человек замечательной честности, ничем нельзя было подкупить его — и в этом отношении он был истинным кладом между государственными людьми тогдашней России, которые все вообще как природные русские, так и внедрившиеся в России иноземцы были падки на житейские выгоды, и многие были обличаемы в похищении казны. Для Остермана пользы государства, которому он служил, были выше всего на свете. Его считали чрезвычайно хитрым, двуличным; никто не мог отгадать его мыслей и намерений, никто не мог понять, когда он умышленно выражался так, чтоб его не поняли; никто не умел так извиливаться и ускользать от опасностей, как он, и никто так верно, правильно и так впору не узнавал насквозь людей, с которыми вступал в сношения. Редко кто мог сказать, что слышал от него правду, если надеялся выпытать от него то, что он имел основание скрывать. Но с такими свойствами хитрости, двуличности и коварства, Остерман, как бывает часто у людей с такими свойствами, не отличался сильной волей и не был злой человек; он лукавил только тогда, когда по его видам этого требовала польза России в сношениях с иностранными властями или собственная его безопасность в омуте придворных интриг. Самым характеристическим приемом его было очень ловко и кстати напустить на себя болезнь, а это несколько раз делал он, когда нужно было поступить или вопреки своей совести, или наперекор силе, так что остермановские болезни вошли, можно сказать, в историческую поговорку. Казавшись обрусевшим, с искреннею любовью к России, Остерман все-таки остался иностранцем в том смысле, в каком в тогдешнее время человек, усвоивший в убеждениях и жизни культурные признаки, не походил на чистокровного русского, не хотевшего двигаться далее того предела, который отделял старую Русь от новой, созданной гением Петра Великого. Остерман стал русским человеком, но стоял, однако, выше того уровня, на котором находилось тогда русское общество. Он назывался не Генрихом, а Андреем Ивановичем, говорил не иначе как по-русски; говорят некоторые, что он даже принял православие, но другое известие, что он остался лютеранином, имеет за собой более основания, особенно в то время, когда царствовал Петр II; тогда, по крайней мере, неприязненные Остерману люди находили неуместным назначение его воспитателем государя именно потому, что он был лютеранин. Есть известие о нем, что он был один из ранних адептов того вольнодумства, которым так ослабился XVIII век (об Остермане см. Phiseldeck, стр. 344, 352, ссылка на Hempel «Leben des Gr. Ostermann», стр. 299 и далее).

После удаления Маврина и Зейкина Остерман взял в учителя Петру академика Гольдбаха, молодого ученого с большими способностями, и деятельным товарищем его был знаменитый архиепископ Феофан

Прокопович, преподававший государю Закон Божий. От них обоих, от Остермана и Прокоповича, остались программы воспитания государя — любопытный памятник истории умственной жизни того века. Система в программе Феофана не была строго православною, по крайней мере, не в таком духе и не с такими приемами являлось православное учение под пером других славных пастырей церкви. Феофан в своей программе, как и в большей части своих сочинений, походил более на евангелического доктора, чем на православного архиерея. Наставление, какое предполагает он давать в религии государю, начинается от познания Божества; первоначальным источником богопознания признается, во-первых, созерцание творения во всех видах, во-вторых, наблюдения над свойствами души человеческой, невидимой телесными очами, и, наконец, в-третьих, сознание человеческой совести, внушающее человеку радость о содеянном им добром деле и беспокойство о совершенном им зле. Таковы свидетельства всех народов, веровавших и доселе верующих в Божество. Бог всемогущ, всеведущ, всеблаг и справедлив, безначален и бесконечен, он награждает за добро и наказывает за зло — в том уверяет нас наша совесть. Но так как мы видим, что в мире многие злодеи пользуются земными благами, а праведные люди страдают и терпят гонения, из этого вытекает логически потребность веры в будущую жизнь по окончании нашего земного бытия. Но для такой веры недостаточно одного нашего разумения, необходимо откровение свыше или религия. Религия может признаваться истинною или ложною. Феофан считает все религии ложными, исключая христианской, Приводятся богословские и исторические доводы подлинности и правдивости книг Ветхого и Нового завета, служащих основанием христианского вероучения. Учение христианское делится на учение

[34]

о вере и нравственное учение. Затем составитель программы предполагает сообщить своему царственному питомцу краткие сведения о церковной истории, о ересь и расколах, о вселенских и поместных соборах, о писаниях св. отец и т. п. В этой краткости, с какою предполагается знакомить ученика с тем, из чего открывается, между прочим, так сказать, фундамент отличия православной церкви от других христианских вероисповеданий, и виден Феофан. У другого, более, чем он, православного вероучителя эта сторона обратила бы гораздо больше внимания.

Программа светского учения, начертанная Остерманом, заключает в себе одиннадцать параграфов. Сначала воспитатель толкует о необходимости изучать иностранные языки, чему естественно было придавать в России больше значения, чем в остальных европейских странах. Латинский язык хорошо знать, потому что такое знание составляет признак благовоспитанного человека; притом надобно следовать примеру, указанному в Немецкой империи: там всегда уважалось основательное знание латинского языка, и нынешний римский

император хорошо в нем сведущ. Молодой русский царь признается уже достаточно подготовленным как в латинском, так и во французском языках. Остается упражняться в них, выслушивать задаваемые предложения и составлять сообразные ответы. Остерман хотел более упражнять императора в науках. Из массы наук воспитатель отличал и ставил на первый план те, которые казались ему наиболее необходимыми для звания государя. К ним он причислял: историю новых государств, науку государственного благоразумия; различные виды управления государственным и их выгоды, гражданское законоведение, права и обязанности верховного и земского начальства, учение о союзах, о посольском праве, о войне и мире, о военном искусстве и о всем, что с ним соприкасается. Все другое, затем входящее в область человеческих знаний, следует излагать вкратце. Сюда относит он древнюю историю с ее разнообразными образцами доблестей, математику, космографию, естествоведение, насколько оно служит основанием построения машин, водопроводов, мореплавания и т. п. и насколько занятия естественными науками пробуждают благородство духа и стремление уразуметь природу с ее таинствами — гражданскую архитектуру, геральдику и генеалогию высоких домов. Для удобства в преподавании предполагалось составить извлечения из разных ученых сочинений для руководства государю при обучении. Время ученья не должно простирается более часа; затем должен следовать отдых и забавы. Уроки должно излагать в виде разговоров или бесед, а не утомлять учащегося множеством писания и чтения. Надлежит вести дневник и отмечать в нем, какие места, читанные в книгах, остановили внимание государя.

При изложении истории новых государств следует иметь в виду образ правления в этих государствах и перемены, возникавшие в них, не утомлять памяти хронологией, но стараться ясно указать на способы управления, устройство коллегий и вообще государственных учреждений, обратить внимание на войско, торговлю, национальное богатство, религию, на цели и намерения государств по отношению к соседям. При этом следует, чтобы учащемуся императору излагать деяния Петра Великого, тем более, что по этому можно обозреть все Русское государство, его силу, потребности и средства, как в зеркале.

Относительно военного искусства делается замечание, что несправедливо принято возвеличивать тех государей, которые отличались военной славой и приобрели завоевания; гораздо более славы правителю миролюбивому, прилагающему заботы свои к государственному устройству. Но так как война не всегда от нас самих зависит, то необходимо держаться в готовности вести ее, и потому нужно изучение военного дела. Военное искусство двояко: одна часть его состоит из планов, приготовленных заранее и служащих для обучения в доме. Это военная архитектура. Другая приобретает в поле: сюда принадлежит расположение лагерей, доставление продовольствия и боевых запасов, осада и защита укреплений и пр. Рекомендуются при этом французское сочинение под названием: «L'art de faire la guerre».

В преподавании древней истории принималось за правило излагать с большою подробностью историю Византийского государства и Востока по связи с Россиею как в отношении православной веры, так по государственным событиям,

На все обучение предполагалось посвятить два года, полагая в неделю пять учебных дней, а в каждый день от двух до трех учебных часов. Остерман назначил время и для забав: для стрельбы, «концертов музыкальных», «вальянтеншпиль» (игра), бильярда и пр. Сохранилась записка, в которой обозначено, в какой день учиться, в какой — солдат обучать, с птицами в поле ездить. На прогулки употреблялось послеобеденное время; в субботу заниматься следовало музыкой и танцами, а в воскресенье пополудни ездить в летний дом и в огороды. Еще не достигши совершеннолетия, по программе, начертанной Остерманом, государь каждую среду и пятницу должен был посещать заседания Верховного тайного совета. Но такие определенные в программе посещения Верховного тайного совета ограничились на деле только одним разом, 21 июня; тогда Петр проговорил в совете то самое, что писал в письме к сестре своей на другой день после своего вступления на престол. Всем заправлял Меншиков, но и он также не ездил в совет, в дела приносились к нему на дом для подписи. Цесаревны не бывали в совете, их значение скоро умалилось, и одна из них, старшая, скоро совершенно выбыла из России,

Герцог голштинский, как говорится, стоял Меншикову костью в горле. Светлейший князь очень желал выпроводить его из России, чтоб не иметь близко себя особ, которые по рождению стояли выше его и пред которыми он должен был смиряться. Сначала герцог не думал, как видно, убраться из родины своей супруги. 19 мая министр его Бассевич подал в Верховный тайный совет мемориал: в нем, упоминая об уплате указанного в завещании Екатерины миллиона и ежегодном платеже по 100000 цесаревнам, сообразно тому же завещанию, он просил купить для герцога дом в Петербурге, а до того времени разместить свиту его в здании Академии наук. На этот мемориал не последовало ответа. После смерти жениха Елисаветы, епископа любского, умершего от оспы, Меншиков под предлогом охранения здоровья государя, заставил герцога с супругой не ездить во дворец, а потом стал так обращаться с ним, что герцог увидал необходимость уезжать. Молодой государь должен был ехать в Москву короноваться. Меншиков представлял герцогу, что ему обременительно будет ехать за государем в Москву и совершенно незачем; лучше ему ехать в свое Голштинское герцогство и хлопотать о приобретении Шлезвига, так как уже заключен у России договор с римским императором и последний обязался прилагать все зависящее от него старание, чтоб герцогу достался Шлезвиг. Герцог понимал, что Меншиков хочет его выпроводить, Мало было ему опоры против могучего временщика. Русские люди не любили пришельца, роптали, что содержание его в России дорого обходится. Меншиков уже давно, еще при строгом государе Петре Великом, привык обкрадывать

казну, теперь он распоряжался ею совершенно по произволу — все это прощалось ему, своему, но не прощалось иноземцу даже и то, что не имело подобия с таким казнокрад-

[35]

ством, однако все-таки делало ущерб государственной экономии. Еще более не нравилось людям старорусского направления то высокомерие, с которым относился молодой и неопытный герцог к русской национальности, в чем он разделял тогдашний недостаток всех немцев, живших в России, исключая умного Остермана, который один понимал, как надобно в России держать себя немцу, и был так бескорыстен и нежаден, что отказывался от предоставляемых ему в собственность имений, конфискованных у Толстого после его ссылки и составлявших от пяти до шести тысяч крестьянских дворов (Lefort. Сб. Р. Ист. Общ., т. III, стр. 481). Уразумев свое положение, голштинский герцог скоро убедился, что и в самом деле ему лучше подобру-поздорову убраться из страны, воспользовавшись теми деньгами, которые предоставлялись в его пользу по завещанию Екатерины. 28 июня его министр Бассевич и другой министр Штанке заявили в Верховном тайном совете, что их герцог имеет намерение уехать навсегда в свое наследственное герцогство вместе с супругою.

В начале июля Меншиков заболел и более двух недель не выходил. Болезнь, постигшая его, была, как говорили, лихорадка, но она сопровождалась разными мучительными припадками и, между прочим, кровохарканьем, подававшим повод подозревать чахотку. Были минуты, когда болезнь казалась до того важною, что опасались за жизнь Меншикова.

В это время раздумье брало многих; составлялись разные планы и предположения. Не терпели Меншикова старолюбцы, не терпели его и те, которых нельзя было признавать в числе старолюбцев, не терпели за высокомерие, надменность и алчность; все тайно желали, чтоб он сошел со сцены. Но вреднее для него в его болезни было то, что в то время, когда он был болен, молодой царь подвергся влиянию, зарождавшему в нем неприязненное чувство к Меншикову. Не видясь с Меншиковым во время болезни последнего, Петр виделся со своим наставником Остерманом, ходил к нему по утрам в халате и проводил целые дни в постоянном сообществе с Долгоруковыми — Иваном Алексеевичем и отцом его Алексеем Григорьевичем. Князь Иван Алексеевич, молодой человек восемнадцати лет от роду, очень понравился малолетнему царю. Во время смерти императрицы Екатерины он был осужден по делу Девиера и удален в деревню, но молодой царь упросил Меншикова простить его и приблизил к себе. Родитель этого князя Ивана Алексеевича, князь Алексей Григорьевич, обер-гофмейстер великой княжны Наталии Алексеевны, был назначен помощником Остермана в звании царского воспитателя. Меншиков не боялся ни этого князя, ни его сына. Князя Алексея Григорьевича он считал не настолько умным, чтоб

опасаться его с какой бы то ни было стороны, сына его — слишком молодым, чтоб тот мог вредить ему, так высоко ставшему в кругу государственных сановников и заручившемуся обручением своей дочери с государем.

На Остермана он надеялся. Но Остерман не был сердечно расположен к Меншикову, напротив, возненавидел его за высокомерие и чрезвычайную заносчивость. Меншиков воображал, что теперь уже никто не нужен ему, и со всеми обходился свысока. И с Остерманом дозволил себе светлейший такого рода обращение, которое не могло понравиться последнему. Остерман, не ссорясь еще с Меншиковым, во время болезни последнего не употреблял, однако, своего влияния на государя для того, чтоб укоренять в нем любовь к своему будущему тестю.

Напротив, Остерман сходился тогда с князем Василием Лукичем Долгоруковым: это был, как кажется, самый умнейший из князей Долгоруковых того времени, приобрел себе известность дипломатическими сношениями в Польше и Швеции и находился с Меншиковым не в ладах по курляндскому делу еще при покойной государыне, когда не хотел содействовать честолюбивым замыслам князя Меншикова получить Курляндское герцогство. Говорят, что Остерман и князь Василий Лукич подействовали на князей Алексея Григорьевича и сына его Ивана Алексеевича, и последние, приобретая более и более расположение государя, старались возбудить в государе нерасположение к светлейшему князю. В сообществе с Долгоруковыми Петр пристращался к охоте; Остерман был этим недоволен, так как ему хотелось, чтоб царь гораздо более тратил времени на ученье, чем на забавы, однако не препятствовал Петру ездить с Долгоруковыми на охоту в надежде, что, быть может, они, по крайней мере, успеют устранить Петра от Меншикова.

Во второй половине июля Меншиков оправился от болезни. Герцог решился тогда уехать. Бассевич, именем своего герцога, получил от Меншикова в уплату завещанного жене его миллиона — двести тысяч, а остальные подлежали уплате в течение восьми лет, но Меншиков тогда же взял с герцога взятку восемьдесят тысяч рублей: из них Бассевич привез Меншикову 60 000 тотчас же, а на остальные 20 000 привез от герцога обязательство в уплате. «Ты много труда положил, — сказал Бассевичу Меншиков, — возьми эти двадцать тысяч в свою пользу». Однако герцог ограничился одними обещаниями Бассевичу, когда тот привез ему от Меншикова записку, предоставлявшую эти 20 000 в пользу Бассевича, и никогда не заплатил своему министру обещанной суммы.

25 июля герцог с супругою отплыл в Голштинию. Меншиков все более входил в силу, и честолюбивые замыслы одолевали его. Брак Елисаветы с епископом любским не состоялся. У Меншикова возникла мысль женить на ней своего сына Александра и таким образом утвердить двойным союзом родство свое с царскою фамилиею. В этом у него явился соперник, маркграф бранденбургский, которого прусский посланник Мардефельд силился посватать Елисавете; но прусский король

неблагосклонно относился к этому плану, поэтому у Меншикова не терялась надежда. К умножению его честолюбия римский император прислал ему диплом на княжество Козель в Силезии, обещанное еще ранее через Рабутина, когда дело шло о том, чтоб Меншиков старался пред императрицею Екатериною о назначении Петра преемником ей на престоле.

Зазнаваясь в своем величии, Меншиков окончательно разошелся с Остерманом. Выздоровевши от болезни, он увидел, что молодой император заявлял к Остерману большую любовь и привязанность. Меншикову было это не по сердцу. Он хотел, чтобы Петр любил и уважал его более всех других сановников. В Петергофе он придрался к Остерману за то, что тот ведет воспитание русского царя не так, как бы нужно было и как бы хотела русская нация: Остерман — лютеранин, и внедряет своему царственному питомцу такие взгляды, которые приличны были бы для государя лютеранской веры, но не для православного, каким должен быть государь России; Остерман отводит его от посещения церкви и хочет оставить его без всякой религии, так как и сам Остерман, в сущности, не принадлежит ни к какой религии и ни во что не верит: с такими обличениями отнесся к Остерману светлейший. Остерман сначала стал объяснять Меншикову, что это несправедливо, но Меншиков разгорячился, обругал Остермана атеистом и грозил ему ссылкой в Сибирь. Тогда Остерман, с своей стороны, потерял свое обычное хладнокровное благоразумие и сказал Меншикову: «Напротив, я за тобою знаю много такого, за что тебя следовало бы не то что в Сибирь заслать, но даже четвертовать».

В самом деле, Остерман, как и другие, знал за Мен-

[36]

шиковым, например, такого рода поступки, что он держал у себя фальшивого монетчика и, отчеканив на несколько тысяч монет из низкого пробного серебра, спустил его на жалованье войскам в персидские области и через то возбудил между тамошними туземцами ропот: те говорили, что русские обманывают их выпуском в обращение плохих денег (Мардефельд. Сб. Р. Ист. Общ. XV. 390). Так Меншиков своею гордостью и заносчивыми выходками вооружил против себя все окружающее и приготавливал врагов из тех, кого прежде считал друзьями.

Между тем Меншиков старался сблизиться и с такими, которые были с ним враждебны по коренным убеждениям. В то время он пытался сойтись с князем Дмитрием Михайловичем Голицыным, по боярской своей важности считавшимся главнейшим вожаком старолюбцев, сторонников русской старины. И он, и брат его фельдмаршал князь Михаиле Михайлович были ненавистники Петербурга и желали перенесения столицы в Москву. Они видели в основании Петербурга корень зла и вместе с тем относились с нелюбовью к петровским замыслам устроить могучий флот и преобразить Россию в сильную морскую державу. «Петербург, — говорил князь Дмитрий Михайлович, —

это часть тела, зараженная антоновым огнем; если ее впору не отнять, то пропадет все тело». (Мардеф., *ibid.*, 365). Оба брата имели большую силу даже и при Петре Великом, несмотря на то, что государю известно было их старолюбивое направление. Теперь, когда восшествие на престол сына царевича Алексея подавало надежды на торжество старины, Голицыны возвысились еще более и в кругу, близком к правлению, все заискивали их благорасположения. У фельдмаршала Михаила Михайловича Голицына была дочь, взрослая невеста, Меншиков возымел намерение женить на ней своего сына. Только что перед тем он мечтал сделать своею невесткою принцессу Елисавету, но эта принцесса так же отмахивалась от этого жениха, как и от других членов владетельных европейских домов. Елисавета заявила нежелание вовсе связывать себя браком. Она жила весело и пользовалась свободой вполне.

И Остерман, с своей стороны, хотел сблизиться с братьями-стариками Голицыными. Но более всего надеялись тогда, что Голицыны войдут в силу, когда приедет бабка государя, несчастная Евдокия Лопухина, мать царевича Алексея. Выше мы привели известия, сообщаемые иностранцами того времени, о положении, в каком узница находилась в Шлиссельбурге. Мы уже сказали, что известиям этим, бросающим черную тень на характер Екатерины, не следует вполне верить; в самом деле, они сами лгутся во лжи: уверяют, будто при Екатерине к заточенной царице Евдокии не допускали даже священника и не доставляли ей возможности слушать богослужение (см. Phiseldeck, стр. 358, ссылка на *Neue Miscellanien*, стр. 179, 180), а из оставшейся переписки того времени (см. Письма Р. Госуд. III, 11), напротив, видно, что заточенной царице выдавалось в сутки по одному рублю на стол, сто рублей на одежду, при ней был иеромонах, причет, келейницы, и походная церковь поставлена была в ее покоях. Меншиков имел повод опасаться этой старухи, если она получит возможность иметь влияние на внука, а потому после смерти Екатерины и провозглашения Петра императором в первых месяцах хотя и послал к ней от царского имени просить благословения на брак, однако не сделал распоряжений о совершенном освобождении бабки государя.

Только тогда, когда Меншиков заболел и когда многие неблагоприятели его надеялись, что больной князь уже не оправится, в Верховном тайном совете состоялось такое распоряжение. Оно потревожило не только Меншикова, но вместе с ним и всех тех, которые некогда враждебно относились к сыну освобождаемой царицы и к ее родным, к Лопухиным; оно неприятно подействовало и на герцога голштинского, вовсе не расположенного сердечно к Меншикову и совершенно непричастного к суду над царевичем и Лопухиными, Говорят, что в числе причин, побудивших герцога поторопиться отъездом из России, было, между прочим, нежелание встречаться с царицею, которая, как сказывали, скоро должна была появиться при дворе. Ожидали от нее, что она будет враждебно относиться ко всему иноземному и неприязненно встретит мужа Петровой дочери. 25 июля

уплыл герцог с женой, а 26-го того же месяца в Верховном тайном совете, в смысле восстановления чести царицы Евдокии, в монашестве инокини Елены, последовал указ отобрать у всех манифест о деле царевича Алексея Петровича, Глебова и Досифея, где обнародовались неприличные поступки бывшей царицы; все, у кого находились экземпляры этого манифеста, обязывались приносить их в Петербурге в Сенат, в Москве в Сенатскую контору, а в прочих городах губернаторам и воеводам; за утайку грозили отдачею под суд виновных. Тогда же уничтожалась сила указа 1722 г., по которому престол мог принадлежать, независимо от всяких прав по происхождению, тому лицу, кого назначит себе преемником прежде царствовавший государь.

Выздоровевши, Меншиков не смел нарушить состоявшееся без него распоряжение Верховного тайного совета о даровании свободы царской бабке, но помешал ей приехать прямо в Петербург, а велел увезти ее в Москву, в предположении, что сам царь скоро должен ехать для коронации и тогда бабка увидит своих внучат. Впрочем, старуха сама охотнее отправилась на житье в Москву. Петербург не мог возбуждать в ней ничего, кроме отвращения. Напротив, с Москвою связывались воспоминания юности и первых лет супружества, пока она еще не успела опротиветь мужу. Притом многолетнее горе направило ее к презрению земною суетою и к предпочтению тихих прелестей отшельнической жизни. Она поместилась в Новодевичьем монастыре.

В 1727 году Меншиков сделался вполне всемогущим владыкою. Иностранные посланники замечали, что даже покойного государя Петра Великого не боялись до такой степени, как в это время Меншикова. Верховный тайный совет значился только больше именем; он издавал такие лишь постановления, какие угодны были всемогущему временщику. Однако в короткое время управления князя Меншикова выпущено несколько таких законов, в суждениях о которых нельзя не признать государственной мудрости законодателя и гуманности; вообще, в них заметно направление дать сколько возможно более облегчения и льгот народу. Ослаблено было стеснение духовенства в пользовании церковными имуществами; 12 июля Верховный тайный совет постановил: все архиерейские имения отдать в заведование самим владельцам с обязательством вносить в Камер-коллегию положенные на эти имения казенные сборы. В этот же день, 12 июля, Верховный тайный совет решил разобрать столбы, поставленные в разных местах в Петербурге с взоткнутыми головами казненных, а самые головы, снявши, похоронить. Таким образом, хотя Меншиков и теперь, как прежде, оставался ревностным поборником начатого Петром преобразования, но не усвоил себе от покойного государя жестокости, а напротив, относился, где было можно, мягко. Таким явился он и по отношению к Малороссии. После восстания Мазепы Петр хотя уверял малороссиян, что измена гетмана не вынудит его к жестоким мерам насилия над народом, но уже не доверял стране, где лица, стоявшие на «верху», заявили себя неискренними

друзьями России. Петр боялся давать в Малороссии управление умным и даровитым туземцам, и

[37]

Скоропадский получил гетманское достоинство именно за то, что был человек недалекого ума и не показывал стойкости в характере. По его смерти малорусская старшина обратилась к Петру с прошением о дозволении выбрать нового гетмана. Петр не отказывал совершенно наотрез, но стал тянуть это дело, водить просителей, и, наконец, придравшись к жалобам на старшин, засадил их в Петропавловскую крепость.

Главная личность между ними — Полуботок, носивший уже звание наказного гетмана, умер в заточении, а его товарищи выпущены были Екатериною, но изменений в управлении Малороссийским краем не последовало. Малороссию продолжала править Малороссийская коллегия под председательством Вельяминова. Жалобы на эту коллегия следовали одна за другою. Коллегия выдумывала отяготительные для народа поборы. Малороссияне должны были притворяться довольными существовавшим порядком, но в самом деле тяготились им. С восшествием на престол Петра II, 12 мая, издан был указ прекратить сборы, самовольно установленные Малороссийскою коллегиею; членам коллегии велено было ехать в Петербург. 21 июня предоставлено было Малороссии, сообразно своим старым правам, выбрать гетмана, и представителем верховной власти при выборе назначен был тайный советник Наумов. Выбор нового гетмана состоялся 1 октября, когда уже Меншиков перестал держать в руках правление, но выбор этот произошел по его плану и желанию. Правда, казакам, собравшимся в Батурин для избрания предводителя, заранее было указано, что правительство желает видеть гетманом миргородского полковника Данила Апостола: Меншиков знал его лично и считал надежным человеком. Апостол, во всяком случае, не был противен большинству избравших, хотя находилось достаточно и таких, которые не выбрали бы его, если бы заранее не высказана была о нем воля правительства. Этот человек был уже очень стар; ему минуло семьдесят лет, и это-то было для многих благовидным поводом не желать его. Но нехотевшие принуждены были молчать и должны были поступать так, как желают власть и большинство избирателей. Во всяком случае, после того, что перед тем испытывал Малороссийский край, дозволение избирать гетмана было уже со стороны верховной власти милостью, и раздражать власть противоречиями было и бесполезно, и опасно. Приехавши в Батурин, Наумов на собранной для избрания раде приказал, прежде всего, прочесть царскую грамоту о дозволении учинить избрание гетмана, потом проговорил казачеству наставление, чтоб избран был человек способный и заслуженный. Около Наумова стояли офицеры с гетманскими клейнотами. У одного была булава, лежавшая на красной бархатной подушке, у другого — бунчук, у третьего — печать, у

четвертого — царская хоругвь. Казаки беспрекословно выбрали Апостола, как прежде было показано тем из них, которые руководили голосами. Апостол отпрашивался, как следовало по господствовавшему издавна этикету у казаков, отговариваясь старостью. Но старшина, как бы против его воли, схватила его на руки и понесла перед Наумова. Наумов еще раз громко спрашивал всю раду: добровольно ли избирается новый гетман? Все единогласно закричали, что они излюбили Апостола. Тогда Наумов вручил новоизбранному один за другим знаки гетманского достоинства, а новый гетман в церкви, пред лицом киевского митрополита, нарочно приехавшего на раду, произнес присягу на верность в отправлении своей новой должности. Один печерский монах произнес при этом приличное событию слово.

В управление Меншикова изданы были облегчительные для народа распоряжения по торговле. Сбавлено пошлины с пеньки вместо прежней 27 1/2% только на 5%, с галантерейных товаров, вместо 10%, положено платить половину прежней, торговля заграничным табаком стала свободною для всех. Дозволено было торговать каждому драгоценными камнями, тогда как прежде, исстари, надобно было представлять их в царскую казну и после уже позволялось продавать то, что не признавалось годным для царской казны. Всем дозволялось заниматься обработкою металлов в Сибири, не выпрашивая предварительного дозволения на лицо, только с платежом в казну 10%; точно так же торговля солью объявлена вольною с платежом в казну 10% с пуда и 5%, если продавалось менее пуда. И торговля мягкою сибирскою рухлядью перестала быть казенною монополиею, а предоставлена была всем желающим вести ее; это принесло большое облегчение, так как до того времени велась большая контрабанда, и преследование ее причиняло большие стеснения. Кроме того, было издано несколько облегчительных распоряжений по торговле, имевших временное значение. Так, по случаю пожара, истребившего на Неве суда, владельцам этих судов предоставлялось платить с товаров, привозимых на их судах, половинную пошлину. Чтоб умножить торговлю с Новгородом, дозволялось плавать по Ладожскому озеру судам всякого устройства и доставлять на них в Петербург сено, хлеб, плоды, овощи, деревянную и глиняную посуду, без всякого осмотра, не стесняясь уже теми правилами, которые установлены были при Петре Великом. Меншиков был первый, озаботившийся устроить мост на Неве для сообщения Васильевского острова с другими частями Петербурга.

Летом 1729 г. у молодого царя со дня на день все более и более развивалась склонность к охоте и переходила в горячую страсть. Он беспрестанно ездил в Петергоф и там целые дни с собаками и птицами рыскал по полям и лесам, неразлучно со своим любимцем князем Иваном Алексеевичем Долгоруковым, а иногда с отцом его, князем Алексеем Григорьевичем, Петр так увлекался охотою, что члены Верховного тайного совета принуждены были нарочно посылать к нему приглашения пожаловать в заседание совета.

Царь никогда не любил своей невесты, княжны Меншиковой, и обручился с ней только для того, чтоб исполнить завещание Екатерины; притом он сделал это по слабости характера, свойственной детским летам, не зная, как отвязаться от настояний Меншикова, представившего ему со вступлением на престол брак с княжностью как обязанность. Долгоруковы, отец и сын, подметивши холодность Петра к невесте, старались всеми силами восстановить его против Меншикова, родителя немилой ему невесты. Царь, кроме того, очень дружен был со своею сестрою; и та не любила Меншикова, и та настраивала брата против временщика. Наконец, что было всего важнее в этом случае, царь возымел привязанность к своей тетке Елисавете, переходившую за пределы родственного благорасположения, и тут-то, естественно, ему делалась смертельно противною мысль о принудительном браке с какою-нибудь другою особою, кроме той, которая была ему по сердцу. Прусский посланник Мардефельд (Сб. Р. Ист. Общ. XV, 380) говорит, что, кроме красоты, Елисавета пленяла всех своими душевными качествами и Петр, увлекаясь ею, называл княжну Меншикову, свою обрученную невесту, красивой статуей. Избалованный самодержавною властью, так рано полученною, молодой царь показывал нрав беспокойный; всегда хотелось ему поставить на своем, не терпел он никаких себе возражений и со дня на день укреплялся в той мысли, что он как самодержавный властелин может делать все, что ему вздумается. Меншиков привык с ним обращаться как с малолетним, а царь не хотел уже быть малолетним, как это часто бывает с детьми, когда им хочется, чтоб их считали взрослыми, и они сердятся на тех, что их счита-

[38]

ют несовершеннолетними. Прежде Петр был под надзором Меншикова и не смел ни шагу сделать без его воли. Во время болезни Меншикова царь остался без этого надзора и некоторое время привык быть без него. Меншикову после своего выздоровления уже не легко было снова стать в прежнее положение, особенно когда в его отсутствие враги успели подействовать на ребенка так, что тому было уже противно оставаться под властью опекуна. Тут и Остерман возымел над царем еще больше нравственной силы, чем прежде; Остерман обладал несколькими такими достоинствами, какими не мог потягаться с ним князь Александр Данилович. Петр искренно и глубоко уважал Остермана, Петр сознавал, что барон Андрей Иванович — человек высокого образования, все, что ни скажет, выйдет у него умно; а князь Александр Данилович не переставал быть в глазах царя выскочкою, мужиком: у него, несмотря на усвоенные приемы вельможи, проглядывали и мужицкое происхождение, и мужицкая грубость. У Меншикова после его выздоровления оказался целый кружок недоброжелателей, вооруживших против него молодого царя; две великие княжны — Наталья и Елисавета, Долгоруковы — Василий Лукич, Алексей и Сергей, брат Алексея Григорьевича, сын

Алексея Иван, любимец царский, — и, наконец, Остерман, которого Меншиков озлобил против себя выходками своего высокомерия.

Когда, таким образом, в молодом государе созрело нерасположение к Меншикову, подогреваемое влиянием близких особ, произошел ряд событий, подготовивших падение человека, так высоко ставшего в России.

Еще перед болезнью Меншикова, в июле (если полагаться в верности хронологии на Манштейна: см. Р. Ст., апр. 1875 г. Прилож., стр. 5), цех петербургских каменщиков поднес императору в подарок десять тысяч червонцев. Государь отправил эту сумму в подарок своей сестре. Придворный, который нес этот подарок великой княжне Наталье Алексеевне, встретился с Меншиковым; тот опросил его, куда он идет и что несет? Узнавши от придворного о деньгах, Меншиков сказал: «Государь еще молод, не знает, как обращаться с деньгами; неси деньги ко мне, я увижусь с государем и поговорю с ним». Придворный не смел послушаться Меншикова и отнес деньги к нему, вместо того чтобы доставить по назначению великой княжне. Увиделся с сестрою Петр и узнал, что она не получала посланного подарка. Царь призвал придворного и спросил, куда девал он те деньги, что ему ведено отнести великой княжне? «Меншиков отнял!»—отвечал придворный. Царь велел позвать к себе Меншикова. «Как вы смели, князь, не допустить моего придворного исполнить моё приказание?» — с гневом сказал Петр. Меншиков в первый раз испытал такую выходку от государя, которого, как ребенка, привык держать в почтительном страхе пред своею особою. Меншиков был ошеломлен, однако через минуту, опомнившись, сказал: «Ваше величество! У нас в казне большой недостаток денег; я сегодня намеревался представить вам доклад о том, как употребить эти деньги, но, если вашему величеству угодно, я прикажу воротить эти десять тысяч червонцев и даже из моей собственной казны дам миллион». Царь топнул ногой и сказал: «Я император, мне надоело повиноваться». С этими словами царь отвернулся и ушел, Меншиков пошел вслед за царем и старался смягчить его.

Через короткое время после того опять были у Меншикова неприятные столкновения с государем. Польско-саксонский посланник рассказывает, что Меншиков выдавал на мелочные расходы для царя деньги на руки служителю и выдал таким образом до трех тысяч рублей. После узнал князь, что служитель, без ведома князя, давал деньги в распоряжение царю; Меншиков прогнал служителя. Петр вернул к себе прогнанного служителя прямо наперекор Меншикову. Потом царь потребовал у Меншикова пятьсот червонцев и подарил их сестре своей, а Меншиков отнял эти деньги у великой княжны на том основании, что все-таки смотрел на обеих высочайших особ, как на детей, которым нельзя дозволить распоряжаться деньгами без надзора со стороны старших. Это сказание Лефорта (Сб. Р. И. О. III, 492) несколько подозрительно; быть может, оно есть представленное в виде двух событий изменение рассказа Манштейна, или, быть может, одно из событий, приводимых Лефортом,

есть то же самое, которое передается Манштейном, только несколько иначе. В настоящее время нет средств решить этот вопрос. Во всяком случае, как бы дело ни происходило в подробностях, видно, что у Меншикова возникали недоразумения с молодым царем из-за денег, которые Петр считал себе вправе тратить куда ему угодно, начавши чувствовать себя самодержавным государем, а Меншиков, считая Петра еще несовершеннолетним, признавал, за собою право надзора за такими тратами. Далее Лефорт говорит (см. Сб. Р. Ист. Общ. III, стр. 489, 490), что в день именин великой княжны Натальи Алексеевны Меншиков целый день не мог объясниться с царем, как ни старался об этом, как ни заискивал его благорасположения. Молодой царь умышленно от него отворачивался и, указывая на Меншикова, сказал кому-то из своих приближенных: «Смотрите, как я его поставлю в струнку!» Заметили Петру, что Меншиков недоволен холодностью царя к дочери Меншикова, царской невесте. Петр на это оказал; «Зачем лишняя любезности? Довольно ей моей любви. Меншиков хорошо знает, что я не намерен жениться ранее двадцати пяти лет возраста. Такое у меня намерение!».

Около этого дня, по известию Лефорта, произошло еще следующее (Сб. Ист. Общ. 111, 492). Ярославцы-серебряки поднесли царю серебряный подарок своего изделия. Петр послал его в дар сестре. Меншиков, узнавши об этом, послал к великой княжне требовать, чтоб ему доставили эту вещь. Она не отдала. Меншиков еще два раза посылал к ней за тем же. Великая княжна не отдала и говорила посланному: «Скажи Меншикову, что я знаю, какая разница между императором и таким человеком, как он». При этом она побожилась, что никогда не будет у него в доме. Это известие, быть может, также видоизменение того, что рассказано у Манштейна и у последнего отнесено к гораздо раннему времени. Несомненно, как это мы знаем из достоверных современных актов, деньги на расходы царя выдавались на руки некоему Кайсарову, и тот получил от Меншикова предписание: не выдавать их никому и не тратить никуда без разрешения Меншикова или Остермана.

Настал день именин Меншикова. Светлейший приглашал царя с семейством пожаловать к нему на именины в Ораниенбаум. Царь сначала обещал, а потом сказал, что ему некогда, есть свои занятия в Петергофе: «Может себе Меншиков праздновать именины и без царя!»

«Должно сознаться, — замечает прусский посланник Мардефельд (Сб. Р. Ист. Общ. XV, 386), — что Меншиков легкомысленно отказался тогда от «сего, что ему советовали добрые люди для его безопасности; временщик сам ускорил свое падение, поддаваясь своему корыстолюбию и честолюбию. Ему надлежало действовать заодно с Верховным тайным советом, поддерживать им же заведенный государственный строй, а вместе с тем приобретать расположение к себе и царя и его сестры. Меншиков же прибрал к рукам все финансовое управление, располагал произвольно всеми военными и гражданскими делами как настоящий император и оскорблял царя и великую княжну-сестру государя,

отказывая им в исполнении их желаний; все это делал он, увлекаясь тщеславною мыслью, что

[39]

ему надобно обоих царственных детей держать под ферулой».

3 сентября, в воскресенье, назначил Меншиков освящение своей домово́й церкви в Ораниенбауме. Уже находясь тогда в большой размолвке с императором, Меншиков надеялся, что при этом торжестве прекратит возникшие недоразумения и совершенно помирится с царем. Он приглашал на освящение царя и сестру его, но не счел нужным приглашать Елисавету, которую, естественно, не терпел за любовь к ней царя и притом считал соперницею своей дочери. Царь не поехал. Великая княжна Наталья тем более отказалась, когда уже прежде выразилась, что не хочет никогда быть у Меншикова в доме. Церковь освящена была без императора и высочайшей фамилии, хотя съехалось много тогдашней правительствующей знати: Головкин, Голицыны, генералы: Волков, князь Шаховской, Сенявин, тайные советники; Макаров и Бестужев и много штаб- и обер-офицеров. Богослужение отправлял архиепископ Феофан с коломенским епископом Игнатием. Есть известие (Phiseld, 389), что Меншиков, зазнавшись в своем величии, во время освящения сел на место, приготовленное для царя, так как царской особы не было. Во время бывшего потом обеда была пушечная пальба, играла музыка. После обеда бывшие там тайные недоброжелатели светлейшего поспешили в Петергоф донести о том, что Меншиков во время богослужения осмелился занять царское место. На Другой день утром бывший у Меншикова его фаворит, как выражались тогда, генерал-лейтенант Волков, советовал светлейшему не медля ехать в Петергоф и объясниться с царем и с членами царской фамилии насчет того, что из них никто не приехал на освящение церкви, а это походило на немилость. Но Меншиков не послушал этого совета и не поехал. Когда пришло время обеда, Меншиков сел за стол с бывшими у него в тот день гостями — князьями Голицыными, тайным советником Мамоновым, Чернышевым, Сенявиным и Иваном Львовичем Нарышкиным. После обеда Волков принялся за прежний совет и в этот раз настоял на своем; Меншиков прослушал его и в пять часов пополудни выехал из Ораниенбаума, провожаемый пушечными выстрелами: такие почести дозволялись ему всегда, когда он куда-нибудь отправлялся из дому.

В тот же день, в 7 1/4 часов пополудни, прибыл Меншиков в Петергоф. Он виделся с царем в больших верхних палатах, но ненадолго и как бы вскользь (см. Есипова «Ссылка Меншикова», Отеч. Зап. 1860. № 8. Лефорт. Сб. Р. Ист. Общ., III, 492). По другому известию (Phiseld., 389), Меншиков в этот день не увидал государя вовсе. Не воротился в этот вечер Меншиков в свой Ораниенбаум: то было накануне именин цесаревны Елисаветы, которую, как требовал долг придворной вежливости, надобно было поздравить, Меншиков расположился в

комнатах, собственно для его особы назначенных в Петергофском дворце, и стал с кем-то играть в шахматы.

На другой день, 5 сентября, Меншиков, прежде всего, утром хотел повидаться с царем, но ему сказали, что Петр, поднявшись очень рано, уехал на охоту. Меншиков обратился тогда к великой княжне Наталье Алексеевне, но та не захотела с ним встречаться, и, когда он к ней входил, она выскочила в окно. Ясно было, что царственная чета, брат и сестра, хотят заявить, что Меншиков стал им противен. Тогда Меншиков отправляется к Елисавете, которая не терпела Меншикова, так же как и он ее. Меншиков поздравил ее с именинами и стал потом жаловаться на царя: Петр неблагодарен и забывает, что Меншиков оказал ему довольно важных услуг. Меншиков говорил, что, видя к себе явно царскую немилость, ему ничего более не остается, как удалиться от двора и уехать к войску, расположенному в Украине. Не знаем, что ему отвечала на это цесаревна Елисавета. Светлейший после беседы с нею поговорил с полчасом с Остерманом (быть может, тогда-то и происходил тот крупный разговор, о котором известие у Мардефельда мы привели уже выше, не зная подлинно, в какой именно день он происходил). В 12 часов дня Меншиков обедал только со своим семейством. К вечеру он уехал с семейством в Петербург, а между тем в этот вечер в Петергофе был устроен бал в честь именинницы. Воротился царь с охоты. Он посетил бал, но присутствовал там недолго, жаловался на усталость, удалился и отправил в Петербург генерала и майора гвардии Салтыкова с приказанием Верховному тайному совету перевезти все царские экипажи и все царские вещи из дворца Меншикова в царский Летний дворец.

Враги Меншикова тайно действовали против него; он же, ничего не зная, вместе с семейством прибыл на Васильевский остров, переименованный им в Преображенский, и остановился в своем собственном дворце. Соблюдая свое обычное величие, он ехал туда в шести придворных каретах.

В Верховном тайном совете в этот день уже призван был гоф-интендант Мошков и спрошен, во сколько времени может быть окончена уборка Летнего дворца, куда имел намерение перебраться государь. Мошков назначил три дня. Меншиков ничего про это еще не знал и думал, что размолвка с царем уладится так же скоро, как улаживалась прежде, когда, бывало, возникала. Меншиков не падал духом, посещал коллегии, смотрел дела, держал себя по-прежнему могущественным правителем государства. То было в среду, 6 сентября. Между тем экипажи императора перевозились из Меншиковского дворца в императорский Летний дворец, согласно приказу, привезенному из Петербурга Салтыковым. Сам царь не возвращался в столицу, провел весь этот день на охоте и вечером прибыл в Стрельну. Там он заночевал.

Настал следующий день, четверг, 7 сентября. Меншиков встал в 6 часов утра, вышел в Ореховую залу своего дворца и просидел там неодетый в задумчивости до 9 часов утра. Этого с ним еще никогда не бывало. В 9 часов отправился он в Верховный тайный совет. Царя не

было. Заседание в этот день не отправлялось. Меншиков застал там только двух лиц и воротился домой. В противность своему обычаю, он в этот день не отдыхал после обеда. Ясно стало Меншикову, что над ним собралась грозная туча.

Меншиков обратился с письмом к князю Михаилу Михайловичу Голицыну, не бывшему тогда в Петербурге, и писал к нему, чтоб он поспешал; по недавней приязни своей с родом Голицыных хотел Меншиков употребить их как сильных людей для своего спасения. Меншиков послал тогда же воротить и отпущенного бывшего учителя Зейкина, как это оказалось из арестованных впоследствии у него бумаг. Видно было, что, замечая против себя нерасположение Остермана, он задумывал удалить от царя этого немца и снова приблизить к Петру прежнего царского наставника. В этот же день Меншиков приказал вывести с Васильевского острова, по известию Лефорта, шесть размещенных там полков, а по известию Физельдека (стр. 390), Ингерманландский полк; вместе с этим Васильевский остров, переименованный в последнее время в Преображенский, снова велено называть прежним именем. Все это были последние распоряжения светлейшего. Напрасны были все его старания; не повредили ему и сделанные в тот день ошибки, как называют иностранцы, удаление войска с острова, которое ни в каком случае не могло отстоять падавшего временщика. Вечером воротился в Петербург царь, и Меншиков, за всем следивший, как только узнал о приезде Петра в Летний дворец, отправился туда с семейством. Но царь не велел принимать ни его, ни княгини, ни их дочери — своей обрученной невесты.

[40]

По приезде царя барон Остерман передал собравшемуся Тайному совету царское повеление такого рода: «Понеже мы восприяли все милостивейшее намерение от сегодня собственною особою председать в Верховном тайном совете и все выходящая от него бумаги подписывать собственною нашею рукою, то повелеваем, под страхом царской нашей немилости, не принимать во внимание никаких повелений, передаваемых через частных лиц, хотя бы и чрез князя Меншикова».

В пятницу, 8 сентября, Верховный тайный совет отправил майора гвардии Салтыкова снять почетный караул при доме Меншикова, данный ему по званию генералиссимуса, и объявить Меншикову, что он состоит под арестом.

Царь в этот день был у обедни у св. Троицы и, если верить иностранцу Веберу (который легко мог ошибиться, не вполне зная все наши обычаи, особенно по отношению к благочестию), причащался (стр. 704). В церкви явились к нему особы женского пола из семейства Меншикова и бросились к ногам государя, думая молить его о прощении светлейшему. Царь отворотился от них, не сказавши им ни слова, и

вышел из церкви. Княгиня Меншикова с дочерьми отправилась за ним во дворец, но, как вчера, ее не допустили к царю (Леф., Сб. И. О., III, 493). У царя в «тот день обедали князья Долгоруковы, члены Верховного тайного совета и фельдмаршал Сапега с сыном. Петр говорил: «Я покажу Меншикову, кто из нас император — я или он. Он, кажется, хочет со мной обращаться, как обращался с моим родителем. Напрасно. Не доведется ему давать мне пощечины».

Княгиня Меншикова с дочерьми, не добившись свидания с царем, обращалась к великой княжне Наталье Алексеевне, потом к цесаревне Елисавете: обе от нее отвернулись. Княгиня обратилась к Остерману и три четверти часа ползала у ног его. Все мольбы ее были безуспешны.

Меншиков между тем сидел в своем доме под арестом. Салтыков не отпускал его от себя ни на шаг. Когда светлейшему объявили первый раз об аресте, с ним сделался припадок, из горла пошла кровь; он упал в обморок, думали, что с ним будет апоплексический удар. Были в то время у него в гостях приятели: Волков, Макаров, князь Шаховской и Фаминцын. В первом часу ему пустили кровь. В два часа подали обед в предспальной комнате. Приятели ласкали его надеждами, что с ним не произойдет особенного бедствия, уволят его от двора и почестей, удалят в деревню, и будет он оканчивать жизнь в уединении, пользуясь скопленными заранее богатствами. Как бы в подтверждение таких надежд, ему дозволили делать распоряжения над своим достоянием.

Тогда Меншиков попытался склонить к себе в милость государя и написал к нему письмо такого содержания:

«По вашего императорскаго величества указу сказан мне арест, и хотя я никакого вымышленнаго перед вашим величеством погрешения в совести моей не нахожу, понеже все чинил я ради лучшей пользы вашего величества, в сем свидетельствуюсь неоцененным судом Божиим, разве, может быть, что вашему величеству или вселюбезнейшей сестрице вашей ея императорскому величеству учинил забвением или нерадением или в моих вашем величеству для пользы вашей представлениях: и в таком моем неведении и недоумении всенижайше прошу за верныя мои к вашему величеству службы всемилостивейшаго прощения и дабы ваше величество изволили повелеть меня из-под ареста освободить, памятуя речение Христа Спасителя нашего: да не зайдет солнце во гневе вашем. Сие все предаю на всемилостивейшее вашего императорскаго величества разсуждение; я же обещаю мою к вашему величеству верность содержать всегда до гробу моего. Так же сказан мне указ, чтоб мне ни в какия дела не вступаться, так что я всенижайше прошу, дабы ваше величество повелели для моей старости и болезни от всех дел меня уволить вовсе, как по указу блаженныя и высокодостойныя памяти ея императорскаго величества уволен генерал фельдцейхмейстер Брюс. Что же я Кайсарову дал письмо, дабы без подписания моего расходов не держал, а словесно ему неоднократно приказывал, чтоб без моего или Андрея Ивановича Остермана приказу расходов не чинил, и он к тому определен на время, дабы под образом повелений вашего величества

напрасных расходов не было. Если же ваше величество о том письме изволите разсуждать в другую силу и в том моем недоумении прошу милостиваго прощения».

Вместе с письмом к государю арестованный временщик написал письмо и к великой княжне Наталье Алексеевне. Извещая о том, что Салтыков объявил ему арест, Меншиков выражался так: «О чем и ваше высочество всенижайше прошу о милостивейшем к его императорскому величеству предстательстве, дабы из-под ареста был освобожден и от всех дел уволен вовсе» (Протоколы Верх. Т. Сов. Чт. 1858 г., III, 64).

Наконец (см. деп. Лефорта в Сб. Р. И. О., III, 495), 9 сентября подана царю записка о Меншикове, составленная Остерманом. Царь утвердил все, но велел отложить до времени приговор о лицах, осуждаемых вместе с Меншиковым: о Волкове и о свояченице Меншикова Варваре Арсеньевой. Меншикову было объявлено, что он будет отправлен в одно из его имений, в Ораниенбург (иначе Раненбург). У него отобрали ордена. С него взяли за подпискою обязательство ни с кем не переписываться.

11 сентября павший вельможа выехал из Петербурга, но не так, как ссылаемый в изгнание, а как боярин, удаляющийся на покой в свои вотчины. Он отправлялся с семьею своею в богато убранных каретах, заложенных каждая шестерней лошадей. В одной из этих карет сидел сам князь со своей княгинею и свояченицею; в другой карете его сын с карликом, в третьей — дочери с двумя служанками, в четвертой — брат жены князя Меншикова Арсеньев. За этими каретами следовал ряд повозок с прислугою и домашнею рухлядью. По документам того времени видно, что выехало с ним сто пять берлинов, шестнадцать колясок, одиннадцать фургонов и одна колымага. Прислуги поехало с ним 127 человек, но в Любани на пути присоединилось к ним еще двадцать человек. По бокам обоза шло двадцать вооруженных солдат под начальством гвардейского капитана Пырского: это был конвой, препровождавший ссылаемого князя. Толпы народа высыпали на улицы смотреть на удаляющегося вельможу, которого величие блистало над Петербургом с самого основания этого города. Не жалели о нем русские люди; напротив, глядели на него с тем злорадством, с каким обыкновенно толпа сопровождает падение таких, что сами вышли из низкого звания и, поставленные судьбою на высоте, не умеют устоять на ней, без того чтоб не зазнаться, и оттого падают. Но все жалели жену Меншикова, потому что ее считали очень доброю женщиною.

В начале своего путешествия Меншиков был уверен, что удалением от двора все дело его кончится, и он будет пребывать в своих имениях до тех пор, пока не изменятся обстоятельства. Но по дороге с ним происходили неприятности одна за другою, и они показывали, что враги Меншикова не удовольствуются тем, что сделали, а будут медленно растравлять нанесенную рану. Из Петербурга вслед за Меншиковым посылались курьеры один за другим и возили новые распоряжения, стеснительные для изгнанника. Сперва один курьер явился с

приказанием обезоружить прислугу. Потом в Валдае случилось такое происшествие.

[41]

Дворецкий Богдан Родионов упросил Пырского дозволить женщинам и девушкам из прислуги с двумя служителями проехать вперед одну станцию. Пырский дозволил, но на следующей станции не нашел поехавших вперед, их догнали в Москве и отвезли по дороге назад. Пырский, рассердившись на дворецкого Родионова за самовольный проезд прислуги, держал его под арестом всю остальную дорогу.

Вероятно, приключение с прислугой в Валдае имело свое влияние, когда Пырский по своей обязанности донес о нем Верховному тайному совету; как бы то ни было, в Твери догнал Меншикова другой курьер и привез приказание отправить назад в Петербург лишние экипажи и прислугу, какую найдут излишнею, распорядился этим Пырский. В Клину третий курьер, по прозвищу Шушерин, привез приказание отобрать и отправить в Верховный тайный совет ордена от сына Меншикова, дочерей его и Варвары Арсеньевой, сверх того, обручальное кольцо у невесты императора, а ей возратить ее собственное, бывшее на руке государя. Сам Шушерин, отправивши эти вещи с другими, по денной ему инструкции, отлучил от Меншиковых его свояченицу Варвару Арсеньеву и повез на заточение в монастырь в Александровской слободе.

Меншиковым не дозволили проехать через Москву, и объехали ее. 3 ноября наконец Пырский привез своих узников в Ораниенбург и поместил их в собственном меншиковском доме, находившемся в крепости. Пырский должен был, согласно инструкции, оставаться постоянно при Меншикове в качестве надзирателя за его поступками. Ворота в крепости, где стоял дом, должны были запирались по пробитии вечерней зари и оставаться запертыми вплоть до пробития утренней зари. Караул был постоянный; часовые расставлены были по комнатам князя и детей его. Ни через кого посылать писем нельзя было мимо Пырского. Меншиков мог писать не иначе как в присутствии Пырского. 5 января 1728 года Пырский был заменен капитаном гвардии Мельгуновым (Есип., «Ссылка кн. Менш.», От. Зап. 1860, № 8, стр. 381, 426).

Враги Меншикова не оставляли князя в покое во время его пребывания в Ораниенбурге. Долгоруковы особенно старались погубить его, чтоб самим стать на той высоте, с какой был низвергнут Меншиков. С ними заодно действовал Остерман. Верховный совет делал все, что представлял Остерман, в качестве обергофмейстера царского сообщавший волю государя совету.

Всеобщее мнение давно уже утвердилось, что Меншиков нажил состояние взяточничеством и казнокрадством. Теперь, после его падения, всплывало наверх многое, что прежде не смело показаться на свет.

23 сентября в совете было читано принца Морица Саксонского (претендента на Курляндское герцогство) письмо, отданное Меншикову в

день его ареста. Из этого письма открывалось, что Мориц обещал князю единовременно две тысячи червонцев и, кроме того, ежегодный взнос на всю жизнь по сорока тысяч ефимков, если Меншиков пособит ему получить герцогское достоинство. Поднялись и другие доносы, и 9 ноября состоялся указ описать все движимое имущество Меншикова, находившееся в покинутых московских и петербургских домах, дачах и деревнях. У него, как сообщает по современным рассказам Лефорт (Деп. 25 нояб, 1727 г. Сб. Р. И. О., т. 111, 507), описали тогда на 250 000 одного столового серебра, 8 000 000 червонцев, на тридцать миллионов серебряной монеты и на три миллиона драгоценных камней и всякого узорочья. Сам Лефорт не считал это вероятным, 17 ноября доставлена была из Стокгольма реляция графа Николая Головина о том, что Меншиков писал к шведскому сенатору Дикеру: хотя русские министры стараются, чтобы Швеция не приступала к Ганноверскому трактату, выгодному для Англии, но на это не следует обращать внимания; войско русское все у него, Меншикова, в руках, а здоровье государыни Екатерины, тогда бывшей на престоле, слабо, и век ее продолжиться не может, и чтобы сие приятельское внушение Швеции не было забвенно, ежели ему какая помощь надобна будет. Кроме того, открывалось, что Меншиков шведскому посланнику Цедеркрейцу в Петербурге объявлял о том же и взял с него взятку пять тысяч червонных, присланных английским королем. Говорили, будто у Меншикова отыскалось письмо к прусскому королю, в котором просил себе займы десять миллионов талеров, обещаясь со временем возратить, когда получит полномочие. Оказалось тогда, что Меншиков, вымогая многое от разных лиц, злоупотреблял подписью государя и, заведя монетным делом в России, приказывал чеканить и пускать в обращение монету дурного достоинства. Поставили ему в вину его поступки с голштинским герцогом и его супругою. Он взял с них (как мы уже сказали выше) взятку 80 000, из которых 60 000 положил на счет казны. Кроме того, герцогу и его супруге подарен был казенный долг, следуемый с английского купца Мерсеи; Меншиков взял насильно себе половину этого долга и уже получил от голштинского министра барона Штанге 2 000 рублей, в чем и дал расписку.

Нарядили судную комиссию для исследования преступлений Меншикова. Взяли под арест секретарей его, Виста, Вульфа и Яковлева; но те, однако, ничего предосудительного за Меншиковым не сказали. Наконец, отправили к Меншикову сто двадцать вопросных пунктов по разным возникшим против него обвинениям. (Проток. Верх. Тайн. Сов. Чт. 1858 г., III, 69, 70).

После отправки Меншикова в Ораниенбург царь извещал голштинского герцога о судьбе, постигшей человека, бывшего постоянным недоброжелателем герцога. Главною виною Меншикова поставлялось неуважение, оказываемое членам императорской фамилии, и в том числе жене герцога.

Бывший друг князя Меншикова Остерман, так много содействовавший его падению, мог по своему положению стать таким же всемогущим властелином, каким был Меншиков; но Остерману тотчас же пришлось увидеть соперничество в возраставшей силе Долгоруковых, отца и сына. Они стали его злыми врагами, хотя старались не казаться ими. Примкнули к Остерману и составили одну партию с ним Апраксин и Головкин; Голицыны, враждуя тогда с Долгоруковыми, не сходились и с Остерманом, а пытались составить свою, третью партию. Между особами царского семейства также не было единодушия. Сестра государя, великая княжна Наталья Алексеевна, будучи по возрасту старше государя одним годом и тремя месяцами, имела над ним большое влияние; она была расположена к Остерману, и ей-то особенно Остерман был тогда одолжен тем, что сохранил свое значение царского руководителя. Дружеское расположение великой княжны к Остерману было очень не по сердцу отцу и сыну Долгоруковым, и они, прежде расположенные к Наталье Алексеевне, стали от нее отдаляться и сближаться с цесаревною Елисаветою, а последняя все более и более получала власти над сердцем государя; скоро, однако, Долгоруковы должны были покоситься и на цесаревну Елисавету, как только стали замечать, что она не хочет быть у них в покорности и сближается с противниками их — Голицынами. Прежде Долгоруковы сами старались сводить царя с теткою, а теперь раскаялись в этом и стали стараться, как бы отвести от нее государя.

Молодой царь, поставленный в водовороте разных партий, начал показывать в своем характере такие черты, что иностранцы, следившие за ходом дел при дворе, находили, что в некоторых случаях Петр Второй напоминал своего деда Петра Первого именно тем, что не терпел никаких возражений и непременно тре-

[42]

бовал, чтоб все делалось вокруг него так, как ему хочется. В самом деле, юность Петра Второго с юностью Петра Великого сходствовала, главным образом, тем, что оба они, и дед и внук, в отроческом возрасте объявлены были государями, и с самодержавною властью, оба рано привыкли видеть пред собою раболепство и считать себя выше всех прочих людей в государстве. Оба стремились предаваться по своему произволу забавам, однако стремления у них имели неодинакие свойства. У Петра Великого во всем видна была любознательность, желание научиться и создавать новое; Петр Второй повторял слышанные им от других слова, что знатным особам нет необходимости быть образованными, а царь, как человек выше всех, не нуждается в надзоре людей, которые бы имели право его останавливать. Такие взгляды внушали ему Долгоруковы в те дни, когда нужно было им спихнуть Меншикова. Отрок легко усвоил эти взгляды, потому что ему хотелось жить как взрослому, а не как ребенку. Петр Великий катался в лодке по Яузе, как будто ради забавы, но тут уже видны были зачатки его великой любви к мореплаванию, создавшей в России морскую силу; Петр Великий

устраивал себе потешные отряды из отроков и потешался с ними походами и примерными битвами, но тут же видно было в нем будущего знатока военного искусства и создателя русской армии. У Петра Второго забавы были для одной забавы. Моря Петр Второй не любил, но сухопутная война, по-видимому, его несколько занимала: он, как его дедушка, окружил себя дворянскими отроками от десяти до пятнадцати лет возраста, однако все ограничивалось ребяческими играми.

Остерман сам, в своей программе для царского обучения, предоставил Петру много времени для отдыха и развлечений. Сообразно такой программе царь занимался учением только до полудня, а в остальное время дня гулял, по вечерам играл в карты с сестрою и Елисаветою, тешился военными эволюциями с кадетами или отправлялся на охоту. Естественно, что, имея свободного времени для забав и развлечений более, чем для учения, Петр полюбил забавы и развлечения больше, чем ученье, а молодой князь Иван Алексеевич поддерживал в нем такое предпочтение забав ученью. Собственно, Остерман, не утомляя воспитанника принудительными мерами обучения, имел в виду внушить ему такое настроение, чтоб он без всякого внешнего принуждения получил любовь к дельным занятиям, а царь под влиянием Долгоруковых стал падок на веселое препровождение времени, и Остерману скоро пришлось пожалеть, зачем допускал к царю Долгоруковых слишком близко. Через месяц после удаления Меншикова Остерман заметил, что царь с ним становится холоднее, сдержаннее, и такая холодность к наставнику увеличивалась по мере усиления горячей привязанности к любимцу и доверия к отцу любимца. Остерман решился объяснить с царем с полною откровенностью. Остерман выставил на вид Петру свою верность, указывал на то, что царь слушает не его, а тех, которые угодничают ему как государю из видов собственной пользы. Наставник, разговаривая с царем, прерывал речь свою слезами; расчувствовался и Петр; он уверял Остермана в полном своем к нему доверии. В самом деле, Петр любил Остермана, и в это время, когда другими замечалась в его обращении с наставником холодность, он любил его так, что посторонние, всмотревшись проницательнее, находили, что царь без Остермана жить не мог (Лефорт. Ibid., 501). Однако после уверений в любви и преданности к своему наставнику Петр все-таки увлекался опять праздными забавами с Долгоруковыми, от чего удерживал его благоразумный наставник. Царь стал превращать ночи в дни, рыскал Бог знает где со своим фаворитом, возвращался на рассвете и ложился в семь часов утра, не досыпал и целый день оставался в дурном расположении духа. Повторял не раз свои наставления Остерман — ничто не помогало; тогда барон Андрей Иванович с досады притворился больным. Думал он, быть может, этим потрясти царя, но это повело к худшему: считаясь больным, Остерман должен был молодого царя поручить попечению своего помощника, князя Алексея Григорьевича, а тот оставил царя в сообществе своего избалованного сына. Петр день ото дня становился своенравнее, и даже у него уже являлась склонность к жестокости. Все

придворные относились к нему с подобострастием, исполняли раболепно все, что отрок-царь ни задумывал, и это очень портило нрав Петра. Он принимал свойства тех пустых натур, которым труднее всего на чем бы то ни было остановиться и сосредоточиться. Во время свадьбы Сапеги с Софьею Скавронскою, родственницею императрицы Екатерины, царя не могли удержать за столом на то время, когда другие гости там сидели. Он поспешил уйти в другую комнату, и тут некоторые заметили, что сколько-нибудь чинное благовоспитанное общество, где нужно соблюдать приличие, было ему противно. Ему более нравилось общество гуляк; говорили, что у него уже показывалась склонность к пьянству, и это казалось вполне естественным и наследственным: дед его и отец были подвержены тому же пороку (Лефортова депеша 27 ноября, *Ibid.*, 508).

Остерман, оправившись от своей мнимой болезни, узнал, что царь вел себя противно тому, как ему наставник постоянно советовал и как Петр сам обещал вести себя. Тогда Остерман высказался царю в таких словах: «Ваше величество, моих советов не слушаете. Я должен отдавать за вас, государь, отчет пред Богом и совестью! И поэтому я бы хотел, чтобы меня определили к другим делам или вовсе дали отставку». Царь, как и прежде, удерживал его от намерения покинуть своего воспитанника, со слезами уверял, что более всех уважает Остермана и ценит его добрые советы. Однако и после таких нежных объяснений с наставником Петр тотчас принялся за прежнее. Уже говорили, что дружба с фаворитом довела Петра до таких забав, какие несвойственны его отроческим летам: князь Долгоруков доставил ему свидание с одной девушкой, служившей прежде у Меншикова и находившейся потом у цесаревны Елисаветы: ей обещали пятьдесят тысяч рублей (Лефортов, Сб. И. Общ., III, 513). Против такого рода увеселений сильно вооружался Остерман, и вместе с ним старалась действовать на царя сестра его Наталья, но с тех пор Петр, бывши до того времени с ней очень дружен, стал на нее коситься.

Между тем старолюбцы надеялись, что дела пойдут лучше, когда царь свидится со своею бабкою, и с нетерпением ожидали, когда Петр поедет в Москву короноваться. Манифест о предстоящем отъезде его был подписан Петром 21 октября (Weber, *Veranderte Russland*, III, 106).

Бабка государя, инокиня Елена, хотя еще Меншиковым освобождена была из Шлиссельбургского заточения, но до ссылки князя не осмеливалась вести переписки с внучатами. Первое письмо ее из Москвы к Петру писано 21 октября. Она писала тогда, когда уведомила, что Меншиков, не допуская ее до царя и отославший ее за караулом в Москву, «за свои противности отлучен», и поздравляла царственного внука с этим радостным событием. Остерман, как знаток человеческого сердца, заблаговременно расчел, что царь и сестра его могут прильнуть душою к своей бабке, и после ссылки Меншикова писал к старухе, что «дерзновение восприял ея величество во всеподданнейшей своей

верности обнадежить», а за этим письмом следовали другие письма. Остерман в них уверял

[43]

царицу, что старается уговорить государя скорее отправляться в Москву для свидания с бабушкой. Старая царица писала Остерману: «Благодарна, что обнадеживаешь меня о горячности его императорского величества любезного внука моего, и прошу содержать его величество и впредь в склонности ко мне и чтоб я могла скорее его видеть. А за верную службу вашу государю воздаст вам Бог!», «Благодарю за услугу твою, что хранишь здоровье внука моего, и впредь о том же прошу». 22 октября Остерман отправил ей описание бывшего в день царского рождения фейерверка, манифест о предстоящей коронации и портрет государя (Письма Рус. Госуд., II, 81). И снова он уверял царицу, что ничего так не желает, «как того, чтоб ея величество была всемилостивейше благонадежна о его вернейшей преданности к ея высокой особе».

Между царем и его сестрой, с одной стороны, и его бабкою, с другой — всю осень и зиму до приезда царского в Москву шла нежная переписка. «Внук мой дорогой, — писала царица 25 сентября (стр. 70), — здравствуй и с сестрой своей, а с моею дорогою внукою, с княжной Натальей Алексеевной. Дай, моя радость, мне себя видеть в моих таких несносных печалях, как вы родились, не дали мне про вас слышать». Царственный внук писал ей о своем желании скорее увидеть свою бабушку и надеялся, что это произойдет скоро, потому что он собирается в Москву для коронации. «Радуюсь, — писала Евдокия, — что по долговременном терпении своем имею надежду вскоре видеть очи ваши и сестры вашей, любезнейшей внуки моей, и молю Бога, дабы меня немедленно сподобил того, чтоб я в добром здравии вас обоих по природной горячности моей видеть и родительским зрением утешиться могла» (стр. 82). Петр приказал отправить бабушке десять тысяч рублей и свой портрет, а бабушка прислала внукам в подарок платков и звезду с лентой своего низанья. Великая княжна Наталья послала после того бабушке маленький презент: книжку, молитвенник киевский. По просьбе царицы при дворе Петра II был принят ее племянник Федор (Пис. Р. Г., II, 116). Остерман был как бы посредником между бабушкой и внуком и сообщал старухе, что, по его старанию, государь дал указ удовольствовать свою бабушку людьми и всякими припасами. За это благодарила его старуха. Замечательно, что Остерман расчел, что может поддержать расположение к себе старухи короткими, как бы мимоходом сказанными в сочувственном духе намеками на ее прежние, уже минувшие несчастья. «Капитан-поручик Лавров, — писал между прочим Остерман 7 ноября, — объявил мне об ужасном и неслыханном терпительном прежнем содержании вашего величества в Слюсельбурге, о котором я не оставил его величеству и ея высочеству донести, и оные купно со всеми добрыми людьми от всего сердца сожалеют и будут

стараться, дабы ваше величество всеми возможными образы паки обрадовать, яко же и правосудный Бог тех, которые тому причиною были, судить не оставит» (Письма Р. Госуд., II, 97). Из одного письма царицы к Остерману видно, что были попытки поставить недружелюбное отношение между бабкою государя и его воспитателем. Ноября 2-го, между прочим, Евдокия пишет вице-канцлеру: «Я истинно об вас ничего пустаго не слыхала кроме всякой услуги ко внуку моему и ко мне; и ежелиб кто мне и говорил и у меня этого никогда не бывало, чтоб мне верить и впредь не будет, что я вижу от вас услугу к нему и к себе» (стр. 94). Неясные эти намеки на что-то, нам неизвестное, поясняются известием Лефорта, который следил за тем, что делалось тогда в высших кругах в России, и сообщал об этом своему правительству. Он говорил, что Долгоруковы писали к государевой бабке, выставляли пред нею свою преданность и чернили Остермана. Инокиня Елена, говорит тот же Лефорт, отправила их письма к императору, своему внуку. Лефорт мог не знать в точности, как происходило дело, и писать мог по слухам, а быть может (что всего вероятнее), царица-бабка не отсылала внуку писем Долгоруковых, но со стороны Долгоруковых могли быть попытки нарушить дружеские сношения царицы-бабки с вице-канцлером: однако такие попытки им едва ли удавались. Остерман слишком хорошо изучил всю подноготную русской жизни, и не так-то легко было сбить его с пути. Искренно расположенный к царю, видя, что Долгоруковы возымели над ним влияние, Остерман надеялся, что авось, быть может, этому влиянию может противопоставиться родительское влияние бабки, когда царь приедет в Москву и повидается с бабкою, и потому Остерман так сходилась со старухою и так старался заранее приобрести ее расположение.

Между тем царь, достигши тринадцати лет возраста, нагляднее показывал охоту казаться взрослым, но при этом продолжал повесничать, и в декабре 1727 года опять имел столкновение со своим воспитателем. «Мои труды пропадают даром, — говорил Остерман царю, — потому что ваше величество меня не слушаете ни в чем!» Царь не стал слушать его наставлений и ушел прочь. После того он предался обычной своей праздности, уклонялся от занятий, и Остерман стал опять упрекать его. «Извините меня, государь, за мою смелость, — говорил он, — если б я теперь не предостерегал вас, то, пришедши в возраст, вы бы велели мне отрубить голову. Я не хочу быть свидетелем вашего падения и желал бы, если б вы, государь, изволили отставить меня от должности царского воспитателя». «Не отходите и не оставляйте меня вашими советами, — сказал царь, — я всегда буду во всем слушать вас». Царь, говоря это, плакал. Но и на этот раз трогательное объяснение царя со своим наставником не имело последствий, как и прежние объяснения такого же рода. Царь опять впал в праздность в сотовариществе своего фаворита, князя Ивана Алексеевича. Цесаревна Елисавета не утратила еще прежнего влияния на Петра. Вместе с нею заодно стояла царская сестра, великая княжна Наталья: обе были тогда на стороне Остермана. На счастье ему,

противники его, Голицыны и Долгоруковы, не ладили между собою. Но говорили, что готовился тогда выступить на него и еще один противник, Шафиров, живший тогда в Москве, как бы в почетной ссылке. Он сближался с бабкою императора, чуть не каждый день посещал ее и приобрел к себе ее расположение: стали пророчить, что как только царь повидается с бабкою, так бывшая царица возьмет над внуком силу и за собою потянет вверх Шафирова, и тогда несдобровать Остерману, который в качестве вице-канцлера занимал ту должность, какую когда-то имел Шафиров. Но Остерман, как выше мы указали, старался заранее своей угодливостью застраховать себя со стороны царицы-бабки. Эта бабка теперь вдруг поставлена была в такое положение, что государственные люди соперничали между собою, старались заручиться ее покровительством и наперерыв забегали вперед один перед другим. Но инокиня Елена от того не зазнавалась; ревностная исполнительница всех обрядов церкви, она в последние годы так приучила себя к монашеской нестяжательности и нищете, что заглушила в себе всякие стремления к честолюбию и роскоши. Современники говорят, что инокиня Елена была такая строгая постница, что в великую четырехдесятницу в продолжение многих дней почти не касалась пищи (Леф. деп. 17 мая 1728. Herrm. 521).

Цесаревна Елисавета, разошедшись с Долгоруковыми, сближалась с их противниками Голицыными, а через то самое Голицыны стали входить в близость к царю. При посредстве Голицыных Петр сошелся с зятем фельдмаршала Голицына Бутурлиным и, допустив его быть товарищем юношеских своих забав, начал было пристращаться к нему; при дворе начинали предрекать: вот молодой Бутурлин оттеснит молодого Долгорукова,

[44]

станет на его месте фаворитом государя. Однако Долгоруковых столкнуть было в то время очень трудно, несмотря на то, что они, отец и сын, постоянно между собою не ладили; отец даже завидовал сыну, а между тем оба они умели превосходно держать Петра в руках и согласно между собою пользовались слабыми сторонами нрава царя. Петру хотелось более всего, чтоб его признавали уже взрослым; ему ничто не было так омерзительно, когда давали ему понять, что считают его еще ребенком. Долгоруковы поняли это и исполняли его желания. Князь Алексей Григорьевич, товарищ Остермана по должности царского воспитателя и руководителя, ставил себя в положение царского советника, готового по своей верной службе сказать свое мнение, когда того потребует от него государь. Подмечая, что Петр ненавидел над собой опеки, Долгоруковы не смели ни поступками, ни словами высказать, что государь у них под опекою, хотя на самом деле так именно и было. От этого-то и укрепились так Долгоруковы. Были фамилии, по крови более близкие к молодому царю,—таковы Лопухины и Салтыковы, однако все ожидания и соображения, построенные на

родственной близости их к молодому царю, не оправдывались. Долгоруковы оставались в прежней силе.

Еще 21 октября царским манифестом объявлено было, что царь отправится в Москву короноваться, и в ноябре стали в Петербурге об этом ходить разные толки и суждения. Сторонники Петровых преобразований и с ними все иностранцы, как жившие и служившие в России, так и дипломаты, строившие свои политические расчеты на дружественной связи с Россиею, очень боялись такой царской поездки в Москву; они все предвидели, что, заехавши раз в столицу предков, отрок-царь уже не вернется в Петербург: в Москве старолюбцы опутают его молодой ум и не пустят идти по дороге, проложенной его дедом. Шел вопрос о том, какой Руси предстоит господство: новой ли, только что, так сказать, рожденной Петром Великим, или старой. С новой Русью соединен был новопостроенный Петербург, со старою — Москва, столица древних царей; восторжествует новая Русь, столица утверждена будет в Петербурге, а станется иначе — в Москве будет столица, как встарь была. От того, где будет находиться столица — там или здесь, — зависело и торжество новых, либо старых начал. Потому-то сторонники Петровского преобразования сильно хотели, чтоб царь и двор оставались в Петербурге; на стороне Петербурга были тогда с ними заодно и послы иноземные; в своих депешах изъявляли они такое убеждение, что польза их дворов от сношения с Россиею необходимо требует, чтоб столица Русского государства была в Петербурге, а если перейдет она в Москву, тогда все для их видов пропало. Противников их, старолюбцев, существовало два вида. Одни допускали, так сказать, некоторый компромисс с западным европейством; такие старолюбцы собственно заклятыми врагами иноземного просвещения не были, но их идеал не достигал до того реализма, по которому преобразовать хотел Петр Россию; они допускали чужеземщину настолько, насколько допускали ее отцы их и дяди, поколение, черпавшее мудрость в Киевской коллегии или в Славяно-греко-латинской академии. Многие из этих отцов и дядей сошли уже в могилу, другие были тогда уже стариками, но дух их жил еще отчасти в их детях, и последние, хотя люди не очень старые по летам, были по убеждениям старолюбцами; они ненавидели Петербург с его новозаведенными порядками, чуждыми русской жизни в прежние времена; их пленяла старая Московская Русь с ее колоколами, с ее обрядностью церковною, придворною и домашнею, и даже с ее обжорством и ленью. Для этих людей надеждою казалась царская бабка. Тогда твердили, что эта бабка иностранцев не терпит, пророчили, что как только она войдет в силу, тогда горе будет всем иноземцам и всем сторонникам иноземщины. Такие прорицатели грозили Остерману; он, думали они, станет первою жертвою злобы царицыной к иноземщине. Но того не знали мудрые прорицатели, что ловкий Андрей Иванович заручился уже дружбою и покровительством старухи, хотя не видал ее вовсе в глаза, и что сама инокиня Елена так отрезалась от мирской суеты, что не могла уже руководить ничем в деле управления государством.

Расположивши к себе царицу–бабку, Остерман и между русскими вельможами поставил себя так, что те из них, которые, будучи старолюбцами, его недолюбливали, признавали его слишком полезным человеком. Из всех сановников того времени не было никого трудолюбивее барона Андрея Ивановича, а из русских вельмож было довольно таких, которые были рады, когда за них другой будет работать. Хитер был Остерман и лжив — в один голос говорили о нем иностранцы, оставившие после себя известия о России, но и злейшие враги его не могли сказать, чтоб он был корыстолюбив или пролагал себе к возвышению пути по головам других, и потому становится понятным, что Остермана хотя и не любили русские вельможи, но делать ему решительного зла не хотели.

Цесаревна Елисавета в это время стала сходиться с Остерманом. Видно было, что племянник–царь все более и более к ней пристращается; боялись, чтоб она не овладела его сердцем совершенно и не сделалась императрицею, несмотря на то, что она была теткою императора: ведь еще при Екатерине Остерман делал соображения о браке тетки с племянником, стараясь оправдать такой брак софизмами. Долгоруковы очень боялись, чтоб этого не случилось. Прежде, с целью окончательно возбудить в царе отвращение к княжне Меншиковой, его невесте, они сами сближали племянника с теткою; теперь у них возникло желание устранить от царя Елисавету, выдать ее замуж за какого–нибудь чужестранного принца и таким путем пресечь ее нравственное влияние на царя. Жених для Елисаветы на примете находился: принц Мориц Саксонский, бывший прежде женихом курляндской герцогини Анны Иоанновны. Он прежде домогался сделаться курляндским герцогом, но Россия помешала этому намерению, потому что у России были политические виды на Курляндию; теперь возможным казалось и удовлетворить разом Морица, и не нарушить интересы России: надобно было женить его на цесаревне Елисавете и тогда сделать его курляндским герцогом, с его стороны было сделано об этом заявление через его поверенного Бакона в Петербурге. Русские вельможи, не хотевшие, чтобы Петр женился на своей тетке, увидели тут удобный случай спровадить Елисавету. Составляли вместе с тем план удалить от государя и сестру его, великую княжну Наталью Алексеевну, еще больше, чем Елисавета, преданную Остерману; думали выдать ее замуж за принца прусского, но это предположение не удавалось, потому что со стороны прусского короля об этом не было искательства, напротив, слышалось, что прусский король желал тогда породниться с английским королевским домом. Испанский посланник Де Лирия намеревался женить своего принца–инфанта Дон Карлоса на великой княжне и доносил в своей депеше, что она сама этого желала.

9 (20) января 1728 года царь Петр выехал из Петербурга в Москву со всем двором. Такого царского путешествия не бывало, если не считать поездки царя Петра 1 в Москву для коронации Екатерины; теперь подобное совершалось гораздо в более широком объеме. Все правящее

государством во всех отраслях управления последовало за царем в старую столицу, и Петербург, по замечанию иностранного посланника, вдруг обратился в пустыню. В те времена путешествие двора из Петербурга в Москву имело такой вид, какой в наше время могла бы иметь разве экспедиция в отдаленнейшие пределы империи. На всем пути от Петербурга до

[45]

Москвы, кроме городов, через которые была проведена большая столбовая дорога, негде было купить самого необходимого для жизни. На ямах, где переменяли лошадей, не было приличных и просторных помещений, приходилось довольствоваться приютом в курных избах. Знатные и богатые путешественники должны были запастись почти всем в Петербурге на всю дорогу до Москвы, и можно вообразить, как это было неудобно, особенно зимою; вся съестная провизия в морозы замерзала, в оттепель растаивала, а где приходился ночлег или обед, там происходило долговременное приготовление кушанья своими поварами. Так вообще езжали того века знатные господа; так ехал государь, за которым следовало много господ, а при каждом из этих господ следовали дворня и поварня.

12 (23) января Петр II въехал в Новгород с такими церемониями, какие давно уже не виданы были в этом древнем русском городе. Были построены для царского вшествия в город триумфальные ворота; перед этими триумфальными воротами выставлено было четыреста мальчиков в белых одеждах с красными перевязями или поясами. В их толпе развевалось три знамени; одно знамя представляло собой символически то историческое знамя, которое велел когда-то сделать Константин Великий; на нем было вензелевое имя Спасителя. Из этой толпы отроков выступили двое; они произносили царю приветствие, один — по-латыни, другой — то же самое по-русски. Содержание этого приветствия было такое: «Сей древний и великий град, бывший некогда столицей вашего величества светлейших предков, посылает нас, детей своих, к столам вашим выразить внутренния чувствования сердец наших, исполненных верностью, любовью и покорностью к вам, могущественный император, и пожелать вашему величеству всевозможнейшаго благополучия, а граду сему вашей любви и могущественнаго покровительства. Царь царствующих да дарует вам долгоденственное царствование, о сем Бога молит духовный чин со всеми жителями, возсылающими свои сердечныя моления». Затем царь, въехавши в город, отправился в Софийский собор, посреди двух рядов духовенства в облачении, певшего церковные песнопения по чину. В соборе царь слушал торжественное богослужение. Литургию совершал архиепископ Феофан Прокопович. После поклонения местным иконам и мощам государь с генералитетом был на обеде, приготовленном в архиерейских палатах. Заблестал великолепный фейерверк. Устроено было пятьдесят пирамид с надписью: «Бог сотвори

сие», а у городских ворот было огненное изображение царя Соломона с надписью: «Соломон воссел на престоле отца своего Давида».

Царь обозрел достопримечательности города. Сам он показывал архиепископу и окружающим архиепископа меч, который прислал царю в дар дядя его, римский император. При этом Петр сказал: «Русский престол берегут церковь и русский народ. Под охраною их надеемся жить и царствовать спокойно и счастливо. Два сильных покровителя у меня: Бог в небесах и меч при бедре моем!»

Выехавши из Новгорода, царь приехал в Тверь и там почувствовал себя нездоровым: это заставило его приостановить свой путь. У него открылась корь, и пролежал он в Твери четырнадцать дней.

Между тем бабушка никак не могла дождаться своих милых внучат, о которых долго не смела даже ни у кого спрашивать. «Пожалуй, свет мой, — писала она к великой княжне Наталье Алексеевне, — проси у братца твоего, чтоб мне вас видеть и порадоваться с вами. Как вы родились, не дали мне, право, слышать, не то что видеть». Писала она и к заочному приятелю своему Остерману и после обычной благодарности за попечения о внуках выражалась: «О том вас прошу, чтоб мне внучат моих видеть и вместе с ними быть, а я истинно с печали чуть жива, что их не вижу. А я истинно надеюсь, что и вы мне будете рады, как я при них буду, а мне истинно уж печали наскучили и признаваю, что мне в таких несносных печалех и умереть, и ежелиб я с ними вместе была, и я б такая несносная печали все позабыла» (Пис. Р. Госуд., II, 121). Царица просила своего царственного внука быть милостивым к Александру Строганову, которого мать была близка к царице-инокине.

Оправившись от болезни, царь продолжал свой путь, но под Москвой опять сталась ему задержка. Готовилось торжественное вступление молодого царя в предковскую столицу. Опять бабушку взяло нетерпение, и она писала внуку: «Долго ли, мой батюшка, мне вас не видать? Или мне вас вовсе не видать? А я с печали истинно умираю, что вас не вижу. Дай-то, мой батюшка, мне вас видеть. Хоть бы я к вам приехала!» К Остерману она писала: «Долго ли меня вам мучить? Что по сю пору в семи верстах внучат моих не дадите мне видеть. Дайте хоть бы я на них поглядела да и умерла!» (П. Р. Госуд. II, 122).

Наконец приготовления к вступлению окончились, и 4 февраля царь въехал в столицу. До сих пор на всем пути от Петербурга до Москвы, исключая тех дней, когда Петр был болен в Твери, народ толпами бежал около царского поезда. Для Руси был тогда великий, давно ожидаемый, праздник. Любовь народа к Петру II выказывалась самым блестящим образом и имела в себе что-то особенное. Отрок-государь возбуждал ее к себе своею своеобразною судьбою. В глазах всего русского народа Петр был истинный наследник престола, а между тем этого наследника неправильно отстраняли и разом преследовали тех, кто отваживался говорить гласно о его правах. Дед, Петр Великий, не любил его, как не любил он всего русского. Дед положил свое монаршее неблаговоление на русское платье и на русские обычаи. Нелюбовью ко всему русскому

этот дед увлекался до того, что стал врагом своей собственной крови; этот дед мучил безвинно свою законную жену за ее любовь к старине, замучил своего бедного сына за то единственно, что сын не хотел идти по следам родителя и предпочитать чужое, немецкое — родному, русскому. Ненавистью к памяти замученного им же сына лихой царь не удовольствовался, стал он ненавидеть и отродие немилого сына, не хотел, чтоб сирота-внук царствовал когда-нибудь! И потакавшие царю бояре, по смерти его, возвели на престол немку, которую царь при жизни своей объявил своею царицею беззаконно, от живой жены; ее детям хотели передать наследие русских царей, а того, кто имел на него права, устранили совсем. Однако Бог не допустил до этого. По Божией святой воле досталось царство Русское тому, кому оно принадлежало по рождению. И вот теперь этот законный молодой царь возвращается в свою столицу, в первопрестольную Москву, недостойно униженную его лихим дедом. Так смотрел на тогдашние политические события в России народ русский. Все любовались царем, когда видели его на проезде. «Ах, какой он молодец! — говорили и старые и малые, мужчины и женщины. — Вот царь, так царь! Это будет настоящий русский царь!» Все склонности молодого Петра II были, казалось, настоящие русские. Покойный царь, дед его, полюбил море, завел флот, хотел насильно заставить русский народ любить море, как любил сам, но русский народ моря не полюбил. Оно ему издавна было чужим и противным. Недаром русские вообще называли все, что было за пределами их земли, заморскими сторонами, хотя бы на границе между Россиею и этими землями моря не было. Все старания Петра Великого завести на Руси мореплавание ложились большой тягостью на русский народ и оттого были ему чрезмерно противны. Теперь народ узнал, что молодой царь моря не

[46]

терпит и не пойдет по следам деда своего. Невзлюбил молодой царь и новой столицы, построенной на болоте, в чухонской земле, среди люторской веры, а полюбил Москву православную с ее золочеными маковками; теперь уже не будут неволить русского человека бросать свое родное пепелище, где жили его деда и прадеды, и переселять его на житье в проклятое болото. Москва опять станет средоточием русской жизни, как была встарь, с незапамятных времен. Какое счастье, какая радость русским людям! Какая горесть проклятым иноземцам и с ними их любителям! Завели гнездо на Руси иноземцы, собрались отовсюду разьедать здоровые соки русской державы. Теперь придется им убежать в заморщину или жить у нас не господами, а слугами. Так ликовал русский народ, так ликовали старолюбцы. Иноземцы и все русские, что искренно пошли по пути Петра Великого, теперь опускали голову; видели они, что все начатое Петром пропадает, опять воцарится на Руси прежнее невежество, прежняя спячка.

У нас нет достаточно подробных сведений о первом свидании царственных внучат со своею бабушкой, старою царицею-инокинею, но, по некоторым данным, видно, что оно происходило не очень сердечно. Великая княжна Наталья, любившая все иноземное, не хотела беседовать со старухою наедине, но при свидании с нею взяла с собой тетку, цесаревну Елисавету. Это сделано было для того, чтоб не заводила бабушка речей о таких предметах, о которых слушать и толковать внучке было неловко (Де Лирия, стр. 46). Как встретился с бабкою царь, не знаем, но известно то, что в заседании Верховного тайного совета, переехавшего за царем в Москву, царь предложил назначить своей бабке-царице содержание, приличное ее высокому сану, и Верховный тайный совет ассигновал ей в год шестьдесят тысяч рублей и, кроме того, постановил приписать ей волость в две тысячи дворов и на ее домашний обиход определить придворный штат. Разом вместе с тем назначено было и для другой бабки царя, с матерней стороны, герцогини Бланкенбургской, по пятнадцати тысяч рублей в год. Соловьев, пользовавшийся письмами высочайших особ из Государственного архива, сообщает, что эта последняя царская бабка хлопотала о поведении внука, и невпопад. Как истая немка, и притом аристократка, она думала, что на ее внука имел дурное влияние Меншиков, человек низкого происхождения, но теперь можно исправить Петра при влиянии князей Долгоруковых, особ знатного происхождения. Бабушка-немка поручала брауншвейгскому поверенному, состоявшему при русском дворе, побеседовать с князем Иваном Алексеевичем Долгоруковым, царским любимцем, и внушить ему уверенность в необходимости вывезти молодого царя из Москвы обратно в Петербург. В тот же день, когда в заседании Верховного тайного совета назначены были пенсии обоим царским бабкам, в число членов Верховного тайного совета приняты были князья Долгоруковы — Алексей Григорьевич и Василий Лукич. Последний еще при Петре Великом отличался на дипломатическом поприще и приобрел славу дельного, умного и полезного государственного человека. Любимец царя, князь Иван Алексеевич, еще был слишком молод, чтоб занять место между сановниками, но был возведен в чин обер-камергера. Эти три князя Долгоруковы составляли тогда, так сказать, триумвират лиц, овладевших особою государя.

В понедельник 18 февраля (1 мар. н. ст.) царица-бабка приехала к своим внучатам в Кремлевский дворец и просидела там довольно долго, но царь, как прежде сделала сестра его, уклонился от тайных задушевных бесед с бабушкой и заранее пригласил тетку, цесаревну Елисавету, чтоб и она находилась при свидании с бабушкой. Бабушка, однако, прочла внуку родительское нравоучение, укоряла его за беспорядочный образ жизни и советовала жениться, хотя бы на иностранке. Молодому царю не по вкусу было слушать старушечьи наставления, и после того, когда между придворными разнеслась весть о том, что бабушка журила царственного внука, твердили, что, верно, теперь царь захочет вернуться в Петербург, чтоб не слушать ворчания

бабушки. Вместо ожидаемых сборов к такому возвращению двора, обнародовано было запрещение, под страхом наказания, толковать о том, воротится ли царь в Петербург или останется в Москве. На самом деле царь выезжать из Москвы не думал. Исполняя обычай предков, царь перед своею коронациею ездил в Троицкую лавру и там провел несколько дней в говении, как следовало пред совершением важного священного дела.

24 февраля (7 марта н. ст.) совершилась царская коронация обычным порядком. Подобно своим предкам, поступавшим так в подобных торжествах, Петр издал милостивый манифест, дававший подданным некоторые льготы: прощены крестьянам и дворовым подушные деньги, которые должны были собраться за майскую треть; прощены все штрафные деньги и освобождены из-под ареста те, которые содержались за пошлины; смягчено наказание, определенное для осужденных уже преступников: тех, которых по приговору суда ожидала смертная казнь или ссылка в каторжную работу, повелено сослать в Сибирь без наказания, а тех, которые были присуждены к ссылке в Сибирь, велено сослать без наказания и предписать губернаторам определить их в службу. Князь Михаил Михайлович Голицын и два Плещеева — Иван и Алексей — в этот день произведены в тайные советники, а Лефорт, Геннинг и Владимир Шереметев — в генерал-лейтенанты. На другой день князь Василий Владимирович Долгоруков (потерпевший при Петре по делу царевича Алексея, возвращенный Екатериною из ссылки и находившийся в то время при войске в Персии) приглашен ко двору с чином генерал-фельдмаршала; фельдмаршальский чин получил тогда и князь Юрий Трубецкой, бывший киевский губернатор; граф Андрей Апраксин и гофмаршал Елагин произведены в генерал-майоры; Миних получил графское достоинство и, сверх того, имение в Лифляндии, состоявшее из двадцати шести гаков земли: этою милостью обязан был он своей женитьбе на графине Салтыковой. В этот же день объявлены были милости архиатеру-президенту Медицинской коллегии Ивану и лейб-медику президенту Академии наук Лаврентию Блюментростам. Восемь дней после коронации в Москве шли празднества. Город с утра до вечера оглашался колокольным звоном, по вечерам горели потешные огни; в Кремле, и в разных местах Москвы за пределами Кремля, устроены были фонтаны, из которых струились вино и водка.

Друзья Меншикова хотели воспользоваться царским праздником и выпросить для удаленного князя милости, но взялись за это неловко и горько ошиблись. Через несколько дней после коронации у кремлевских Спасских ворот поднято было подметное письмо, в котором оправдывался Меншиков. Может быть, автор этого письма достиг бы своей цели, если бы в этом письме просили только милосердия к Меншикову, но в нем было написано более обвинений против врагов Меншикова, находившихся тогда в царской милости, чем доводов в защиту светлейшего князя. Это раздражило Долгоруковых, и они не только не показали великодушия, не только не просили царя о

милосердии к павшему их сопернику, а, напротив, старались усилить в молодом царе к нему злобу. Подметное письмо было таково, что задевало и Долгоруковых, и самого царя. В нем говорилось, что особы, заменившие Меншикова около молодого государя, ведут императора к образу жизни, недостойному

[47]

царского сана. Таким образом, царь Петр представлялся каким-то глупцом, которым руководить и, так сказать, помыкать легко могут другие. Известно, что знатные и высоко стоящие лица всего менее прощают то, когда их уличают в слабости ума и воли. Было подозрение, что это письмо составлено с участием князей Голицыных, которые постоянно оказывали враждебное расположение к Долгоруковым, но их, по знатности их рода, не тронули. Немало учинено было арестов в домах не столько высоких персон, однако не дошли ни до чего.

28 марта издан был манифест, в котором государь обещал прощение тому, кто добровольно сознается в написании этого письма, а тому, кто откроет автора, награду; вместе с тем угрожала кара всякому, кто, зная об этом, не доведет до сведения верховной власти. Впоследствии оказалось, как говорили, что сочинителем подметного письма был какой-то священник, духовник царицы Евдокии; говорили, будто Меншиков через своих приближенных подкупил его. Дело было так. У княгини Меншиковой, кроме Варвары Арсеньевен, сосланной в Александровскую слободу в монастырь, была еще сестра Ксения Колычева, жившая в Москве. Она желала помочь сосланной в монастырь сестре своей Варваре и, по совету какой-то своей соседки Бердяевой, через монаха Евфимия, завела сношение с монахом Клеоником, бывшим у царицы-бабки, инокини Елены, духовником. Колычева добивалась, чтоб Клеоник как-нибудь склонил на милость царицу-бабку и та бы исходатайствовала у царя свободу Варваре Арсеньевой. За это Клеоник взял с Колычевой взятку тысячу рублей. Освобождение Варвары не состоялось, а сношения в пользу ее открылись. Колычеву притянули к допросу, подвергли пытке хомутом и ремнем⁸; потянули к допросу и других. Никто из подозреваемых в подметном письме не сознался, но почему-то заключили, что это письмо писал Клеоник, обличенный уже в плутовской проделке по поводу ходатайства пред царицею-бабкою об Арсеньевой. Всех разослали и — по известной русской пословице: с больной головы на здоровую — принялись за Меншикова. Как бы то ни было, только подметное письмо в пользу Меншикова, поднятое у Спасских ворот, вместо желаемой пользы принесло окончательное падение бывшего временщика. Верховный тайный совет бедного Меншикова, как бы уличенного в участии в составлении подметного письма, приговорил к тяжелой каре; лишив всего его имущества, сослать

⁸ Так назывался один род пытки, состоявшей в том, что обвиняемому надевали хомут и привязывали руки и ноги ремнями к противоположным столбам и потом били кнутом.

с семейством в Березов, в Сибири, на реке Оби, а сестру жены Меншикова Варвару Арсеньеву сослать в Сорский женский монастырь в Белозерском уезде и там выдавать ей по полуполтине в день на содержание.

Во исполнение указа Верховного тайного совета Меншикова с семейством отправили в Сибирь с особенными приемами жестокости и дикого зверства. Мало казалось того, что у него тогда отняли все недвижимое и движимое имущество: дома в Москве (на Мясницкой, у Боровицкого моста, на Яузе, на Хопиловке, в Слободах), в Петербурге (на островах: Васильевском, Адмиралтейском, Крестовском), в Ораниенбауме, в Ямбурге, в Нарве, в Копорье на Ижоре и в разных дачах; дома, удивлявшие современников роскошью мебели, обоев из китайского штофа, вызолоченной кожи, разрисованных кахлей; сады, пильные мельницы, множество мыз и населенных деревень в тридцати шести великороссийских губерниях, в Ингерманландии, Эстляндии, в Малороссии (при них одной пахотной земли числилось 152 356 десятин, кроме лесных угодий и сенных покосов, считаемых не десятинами, а десятками верст); все движимое имущество: экипажи, лошади, столовые приборы, кухонные запасы, деньги (в одном доме на Мясницкой взято было 72 570 рублей), богатый гардероб, множество бриллиантов и золота в украшениях, — все было отнято в казну и потом многое раздарено другим лицам. Этого казалось недостаточно. Когда 16 апреля вывезли ограбленного временщика из Ораниенбурга с семейством в рогожной кибитке, приставы (Плещеев и Мильгунов), давши проехать восемь верст, догнали его с воинскою командою и с толпою дворни, прежде принадлежавшей князю, и приказали выбрасывать из кибитки все пожитки под предлогом осмотреть; не увезли ли ссыльные с собою лишнего. Тогда их обобрали до того, что князь Александр Данилович уехал только с тем, что на нем было надето, не имея даже лишнего белья для перемены, в у его дочерей отняли сундуки, в которых было уложено теплое платье и материалы для женских работ. Княгиня Дарья Михайловна, ослепшая от слез, отправилась в путь больная и на дороге умерла 10 мая в Услоне, близ Казани. Едва дозволивши мужу и детям похоронить ее, 11 мая ссыльных повезли далее в судне по Каме и таким образом доставили в Тобольск, в оттуда препроводили в Березов. На содержание сосланного князя с семьей и с десятью человеками прислуги определено было по десяти рублей в сутки (Есип. «Сс. кн. Меншик.» Отеч. Зап. 1861, № 1, стр. 55—90).

Вскоре после коронации пришло известие о благополучном разрешении от бремени герцогини голштинской Анны Петровны. Родился императору Петру II двоюродный брат, тот самый, которому лет через тридцать с небольшим суждено было сделаться русским государем под именем Петра III. Весть о его рождении дала повод к новым праздникам и во дворце, и в городе Москве. При дворе (13 марта н. ст.) был дан бал, куда приглашены были все находившиеся тогда в России иностранные министры, но тогда же заметили с удивлением, что на этом бале не было царской сестры, великой княжны Натальи Алексеевны.

Носился слух, что она была нездорова и по этой причине не посетила бала, но это показалось для многих сомнительно, потому что перед тем Наталья провела вечер у герцогини курляндской. Дело объяснилось тем, что великая княжна была тогда недовольна царем; у сестры к брату возникла некоторого рода ревность: великая княжна сердилась на брата за то, что тот слишком много сердечного расположения показывает к своей тетке Елисавете. Царь, не дождавшись сестры, открыл бал без нее и вначале танцевал с теткою. После трех контрадансов, царь ушел в другую комнату, а цесаревна Елисавета танцевала с царским фаворитом, князем Иваном Долгоруковым. Царь из другой комнаты вышел и стал на пороге при входе в большую залу: он следил внимательно за танцующею парюю цесаревны Елисаветы и князя Ивана Алексеевича, и замечавшие движение на лице его поняли, что его величество ревнует к тетке. Говорили тогда, будто Остерман разжигает в молодом царе любовь, во-первых, с политическими видами, так как цесаревна Елисавета с Остерманом несколько сближалась, во-вторых, по соперничеству с Долгоруковыми. Но то были только предположения, ходившие в придворном кругу. Остерман сообразил, что трудно ему отдалить от царя князя Ивана Алексеевича, и счел за лучшее поладить с молодым князем Долгоруковым; Остерман начал ему оказывать внимательность и любезность. Таким образом, когда царь пожелал своего фаворита сделать обер-камергером, Остерман первый подал царю совет поступить так с князем Долгоруковым, а потом просил Лефорта, посланника польского короля, чтоб тот упробил своего государя пожаловать фавориту русского императора польский орден Белого Орла.

После коронации царица-бабка удалилась от двора и сидела себе за своими монастырскими стенами.

Она увидела, что на нее мало обращают внимания и внуки не относятся к ней с тою сердечностью, с какой она к ним относилась. Старуха поняла, что ее по-

[48]

ра минула безвозвратно, что она развалина прошлого и нечего ждать ей от жизни впереди. Она проводила время в посещении богослужения да в беседах с сестрами-инокинями. Она в этот год так строго хранила указанный церковью великий пост, что на страстной неделе даже лишилась сил, В то время и Остерман сделался так болен, что опасались даже за его жизнь, и царь несколько раз посещал его с обычными знаками внимания.

Настала пасха, приходившаяся тогда 21 апреля. С пасхи царь стал чаще ездить на охоту, которой тек горячо предавался и в Петергофе. Окрестности Москвы, богатые в то время лесами, представляли для этого развлечения обильное поле действия. С царем ездила тетка Елисавета. Сестра, великая княжна Наталья, уклонялась от этих забав и не сопровождала брата: говорили, что у ней уже открывалась чахотка. С Елисаветою на охоте постоянно находилась одна боярыня и две русские

служанки. Члены Верховного тайного совета и генералитет должны были сопровождать царя в его охотничьих подвигах, хотя бы иному и не хотелось. Поезд царский поэтому был огромен и тянулся более чем в количестве пятисот экипажей. При каждом из вельмож, отправлявшихся за царем на охоту, ехала собственная кухня и прислуга. Переезжали из одной волости в другую, где были лесные дачи; останавливались, где находили удобным: происходил обычный процесс охоты; между тем разбивали палатки, готовилось пирование; слуги развязывали поклажи, доставали посуду, устанавливали на столах кушанья и бутылки; работали подвижные кухни. После охоты сходились в палатки собеседники, шел веселый пир, а по окончании пира снова все укладывалось, увязывалось, ехали далее и снова становились там, где нравилось и обыкновенно заранее было указано. Это было не столько увеселительная поездка, а скорее кочевание в азиатском вкусе и сообразно старой московской жизни. Даже купцы, думая зашибить копейку, с товарами, и особенно съестными, ехали вслед за двором, отправившимся на охоту: на охотничьих стоянках продавалось все втридорога, хотя, по замечанию современников, тогда в Москве и без того было все несравненно дороже, чем в Петербурге. Поле (т. е. место, где надлежало располагаться и вести охоту) назначалось всегда по воле государя. Оно бывало различного качества, смотря по условиям местности: там охота шла за волками и лисицами, в другом месте за зайцами, в третьем за птицами. Для охоты за птицами употреблялись ученые птицы: кречеты, соколы и ястребы; гончие собаки только выгоняли птицу из кустов или из болота, а тут сокольничьи, кречетники, ястребники уже стоят и держат кляпыши с кречетами, соколами и ястребами. На кречета, сокола и ястреба заранее надет клобучок, чтобы ловчая птица не видала ничего. Когда собаки спугнут птицу, сокольничьи снимают клобучок с глаз своей птицы, а та летит, нападает на утку или какую другую птицу, умерщвляет ее, а сама возвращается и садится на свой кляпыш. В охоте за зверями работали егери и охотники: они были одеты в зеленых кафтанах с золотыми и серебряными перевязями; у каждого на такой перевязи висела лядунка и золотом либо серебром блестящий рог; на этих людях были шаровары красные, шапки горностаевые, рукавицы лосиные. Сначала пускают, по обычаю, гончих собак спугнуть зверя, тогда егери и охотники, сидя верхом, спускают со своры борзых собак, а сами за ними скачут вслед... Иногда же на волков брались тенета, и место, вошедшее в тенета, называлось островом; выгоняли из леса зверя и загоняли в расставленные кругом рожи тенета. На медведя охота производилась в дремучих лесах, и тогда царя не пускали близко, чтоб не было ему опасности. Выбирались охотники крепкие, рослые, сильные; борцы с медведями приобретали славу в охотничьем кругу, как храбрецы в военном. Царя приглашали приблизиться только тогда, когда медведя проколят рогатиною, или попадут в него пулю. После охоты за зверем ли или за птицею наступал обыкновенно пир в палатках, о которых выше мы говорили. Шум, крик, гам, звук рогов, звон колокольчиков во время охоты сменялись песнями,

виватами и почетными выстрелами. Все это делалось в старом русском духе, и царь привыкал к такого рода забавам, сродным ему и по народности, и по фамильным преданиям, так как цари древние, особенно Романова дома, любили охоту. В поле или в лесу все шло вольнее, не то что во дворце; тут в сторону откладывались чопорные церемонии, какими там была постоянно окружена царская особа. Почтенные вельможи, сотрудники великого преобразователя, предавались невольно этой веселой жизни, и сам Остерман, постоянно напоминавший своему воспитаннику о возможности государственного труда, сам, как бы угождая молодому государю, делался участником охотничьих забав; впрочем, барон Андрей Иванович не постоянно сопровождал царя, а, поехавши с ним по его воле, уезжал поскорее назад в Москву заниматься делами. Другие члены Верховного совета менее, чем он, сознавали потребность ворочаться к своим государственным занятиям.

Князь Иван Алексеевич часто оставлял государя, удалялся в Москву и, сходясь с Остерманом и другими европейской партии, говорил, что ему надоедают царские забавы. «Не по сердцу мне, — выражался он, — когда царя заставляют делать дурачества, не терплю наглости, с какою с ним начинают обращаться на охоте». Но это был только благовидный предлог. Его другое влекло от царя и от царской охоты. Он был большой любитель прекрасного пола и относился к нему чрезвычайно беззастенчиво. Если случится, какая-нибудь хорошенькая боярыня придет в гости к его матери, и хозяйки не застанет, молодой князь без церемонии хватает ее за талию, тащит в кабинет и делает с нею, что ему угодно. С княгинею Трубецкою был он в постоянной связи, все в Москве это знали, и он открыто издевался над ее мужем. Отец этого ловеласа, князь Алексей Григорьевич, был с ним в постоянном препирательстве; отец даже думал повредить добрым отношениям сына к царю. У князя Алексея Григорьевича был другой сын, и этого-то сына хотел отец ввести в фавор к государю, а князя Ивана устранить. Старый Долгоруков, князь Алексей, ластился к Остерману; Остерман притворялся пред обоими, и пред отцом и сыном, и тому и другому расточал любезности, а на самом деле и отца и сына равно не терпел; Остерман, так сказать, лавировал между ними: слушал со вниманием сына, когда тот жаловался на родителя, но показывал участие к отцу, когда тот говорил Остерману о проказах сына. Князь Алексей Григорьевич в глаза называл Остермана первым умницею в свете и своим лучшим другом, а за глаза проклинал его и считал своим лютым врагом.

24 мая пришло известие о кончине голштинской герцогини Анны Петровны, последовавшей 4 мая. При дворе наложен был траур, но это не воспрепятствовало в день царских именин быть празднеству и балу. Только цесаревна Елисавета, родственно и дружески привязанная к своей старшей сестре, грустила о потере ее сердечно и глубоко. Тело покойной герцогини решили привезти в отечество и похоронить в Петербурге. За телом послан был президент Ревизион-коллегии генерал-майор Бибииков.

В июле тревожные вести из Малороссии о татарских замыслах побудили послать туда с войском фельдмаршала Голицына, а опасения, чтоб вместе с Турциею не стала действовать против России Швеция, заставили было обратить внимание на флот, еще не успевший прийти в совершенный упадок после Петра

[49]

Великого; хотя с кораблей орудия были сняты и экипажа не было ни на одном, но еще можно было изготовить военные суда к походу в короткое время, если бы оказалось нужным. Русские вельможи чванились своим флотом, по замечанию испанского посланника, словно школьник, получивший офицерский чин и привязавший в первый раз в жизни шпагу к своему боку. Из этого чванства нельзя было ожидать никаких важных последствий, потому что корабли от времени портились, а новых не строили и, вообще, не занимались корабельным делом вовсе. Оно, казалось, осуждено было на совершенное всегдашнее пренебрежение, после того как царь с двором перебрался в отдаленную от моря Москву, точно так, как и всему, чему только великий Петр положил начало, грозило невнимание власти и забвение, Поэтому-то Остерман сильно пытался склонить Петра к мысли о возвращении в Петербург. С ним разделяли это желание из видов пользы своих держав посланники: императорский — Вратиславский и испанский — герцог Де Лирия. По известиям, сообщаемым последним, Англия через вольфенбиттельского посланника старалась о том, чтоб русский престол оставался в Москве и Россия не сделалась морскою державою. В этом случае английские виды сходились с видами русских старолюбцев. Для Англии не мило было возвышение России, и она желала всегда, чтоб Россия коснела в своей вековой неподвижности. Остерману приходилось противопоставить все способы хитрым козням эгоистической державы. Все, по его соображениям, зависело от того, чтоб убедить молодого государя переехать обратно в Петербург. Но чем далее шло время, тем труднее было Остерману подействовать на государя; Петр все более и более доверял советам Долгоруковых, и притом, отправляясь на охоту на продолжительное время, пристращался к этой забаве до безумья. Остерман думал было, чтоб отучить Петра от охоты, устроить ему близ Москвы другую забаву — маневры, которые бы приучали отрока-царя к воинским упражнениям. Но Петр от всего отбивался; у него в желании была единственно охота; ей предался он особенно с жаром осенью, так как это время вообще приветливо для страстных охотников. Царя постоянно сопровождал князь Алексей Григорьевич и возил его в свое подмосковное имение Горенки, где находилось его семейство; там хитрый царедворец сводил молодого императора со своей дочерью, девицею Екатериною, замышляя, авось либо удастся, что она сумеет пленить молодого царя и сделается императрицею. Долговременные поездки на охоту и посещения Горенок отстранили Петра от тетки Елисаветы, которая при том же сама отталкивала от себя государя своим

легкомысленным поведением. Царский фаворит, князь Иван Алексеевич, хотя по-прежнему пользовался дружбой государя, но продолжал от него отлучаться, ворочаясь в Москву для своих волокитств. В это время, увидавшись с Остерманом, князь Иван уверял его, что готов, насколько у него сил и умения станет, уговаривать Петра воротиться в Петербург, но рассчитывает, что удобнее к этому возвращению склонить Петра зимою, когда откроется санный путь, а до того времени будет трудно, потому что царь ни за что не захочет расстаться со своими охотничьими затеями, пока удобно рыскать по полям и лесам. Невозможно было отвлечь Петра из Москвы и ради отдания последнего долга тетке Анне, которой тело, привезенное в Петербург на корабле, погребено 12 ноября без царя.

В ноябре, несомненно, оказалось, что великая княжна Наталья Алексеевна, которой было всего пятнадцать лет, страдала легочной чахоткой, и положение ее со дня на день становилось безнадежным; а ее царственный брат продолжал рыскать на охоте, и с трудом могли увезти его в Москву только уже пред ее смертью. Она скончалась 22 ноября в загородном Слободском дворце: говорили, будто перед смертью она просила брата вернуться в Петербург. Царь очень плакал о ее потере и переехал в Кремлевский дворец, чтоб не жить там, где окончила жизнь нежно любимая особа. Остерман надеялся, что теперь-то удобно будет склонить царя к переезду в Петербург, представивши ему, что постоянное пребывание в Москве будет ему чересчур тяжело, так как все будет напоминать ему о сестре, которой могила находилась в кремлевской церкви, вместе с могилами русских царственных особ. Но князь Алексей Григорьевич опять увлек Петра к себе в Горенки, Тело великой княжны оставалось непогребенным до января 1729 года. В это время Остерман, испанский посол Де Лирия и императорский посол граф Вратиславский поручали князю Ивану Алексеевичу подать царю записку от Вратиславского о том, что римский император, дядя русского государя, убедительно советует ему перебраться в Петербург. Но царский любимец, взявшись за это дело, поводил несколько времени доверившихся ему господ и охладел к предполагаемому замыслу. После погребения великой княжны князь Иван Алексеевич сказал им, что не может подействовать на тех, которые отговаривают государя от переезда в Петербург, разумея своего родителя, старавшегося всеми средствами удержать царя от переезда.

В феврале 1729 года царь проводил дни в Горенках, являясь на короткое время в Москву. С теткой Елисаветой удалось Долгорукову совершенно развести Петра, так что он не видался с нею по целым неделям. В марте царь отправился на долгое время на охоту; вместе с ним поехали: князь Алексей Долгоруков, его жена, дочери и сыновья. С царем поехало множество прислуги.

Везде в Москве стали толковать, что Долгоруков непременно рассчитывает женить Петра на своей дочери, и уже тогда многие были этим недовольны; возбуждалась зависть к возвышению Долгоруковых.

В апреле царь перебрался опять из Кремлевского дворца в Слободской дворец, а между тем продолжал увлекаться охотой. Ничто его не могло остановить. Он было заболел лихорадкой; во всей Москве свирепствовала лихорадочная эпидемия. Царя убеждали беречь здоровье, но он слушать не хотел, ничто его не пугало, ничто не отвлекало от любимых забав. В мае, по распоряжению Остермана, притянуты были к окрестностям Москвы войска и расположены лагерем, с целью привлечь царя, хотя в виде забавы, к военным занятиям, вместо охоты. Не удалось воспитателю. Царь всему предпочитал охоту и не довольствовался вести ее около Москвы, но затеял охотничью экспедицию в более отдаленный край — к городу Ростову — и обещал воротиться в Москву только к своим именинам. В конце мая он туда и отправился с князем Алексеем Григорьевичем и его семейством. Члены Верховного тайного совета и служившие в других правительственных учреждениях рассудили, что когда царя нет, так и им нечего делать, и разъехались, кто куда мог, по деревням и дачам. То же сделал и сам Остерман.

Июнь был дождливый и холодный. Ждали, что царь воротится к празднику Троицы, но он не приехал в Москву ранее 23 июня, и то приехал потому, что поднявшийся в полях хлеб не допускал охотиться без нанесения ущерба земледельцам.

Иностранцы представляют жалкую картину разложения всякого порядка в управлении государством, над которым считался властителем четырнадцатилетний отрок, бесхарактерный, избалованный собственным ранним величием самодержавия, руководимый честолюбцами, игравшими им для собственных выгод. Никто не заботился о государстве, каждый помышлял

[50]

только о самом себе. Царь, отдавшись ребяческим забавам, ко всему дельному питал отвращение. Остерман истощал всякие способы, чтобы привести его к желанию заняться чем-нибудь серьезным, хоть бы несколько часов в сутки. Все было напрасно. Царь оставался совершенным неучем, а князь Алексей Григорьевич умышленно поддерживал его невежество (Лефорт, 17 февр. 1729, Herrm., 531). Употребляя все меры, чтобы Петр постоянно находился в семействе Долгоруковых, князь Алексей Григорьевич достаточно обезопасил себя от цесаревны Елисаветы, внушив царю о ней самое презрительное мнение. Молодого Бутурлина успели они заранее отдалить от государя и потом послали его в армию. Александра Львовича Нарышкина обвинили в произнесении грубых слов о царе, и он заслан был в деревню. Сергей Дмитриевич Голицын начал было возвышаться и приобретать царское внимание: его услали посланником. Долгоруковы не допускали к царю никого, кто бы мог остаться с ним наедине и охладить в нем благорасположение и доверенность к Долгоруковым. Осенью опять Петр с семейством Долгоруковых отправился на охоту на неопределенное

время. Его псарня, по известию посланника, состояла тогда из 200 гончих и 420 борзых. Затравлено было 4000 зайцев, 50 лисиц, 5 волков, 3 медведя и огромное количество всякой дичины. Отправились в отдаленные от столицы края. Пришел день царского рождения. Он застал царя в городе Тле Сотворили импровизованное пиршество и бал, на котором играли блестящую роль княжны Долгоруковы. Они еще сами не знали, на которую из них падет жребий, но говорили, что концом такого величия может быть монастырь. Все, глядя со стороны, понимали, что Долгоруковы хотят женить царя и породнить род свой с царскою кровью, но никто не смел заговаривать об этом громко; все притом были убеждены, что рано ли, поздно ли, а Долгоруковы должны тяжело расплатиться за свое бессмысленное сводничанье.

По известию того же Лефорта (Herremann, 533, ссылка на депешу 21 ноября), в ноябре Петр выкидывал такие выходки, которые грозили было Долгоруковым неудачею; например, когда после стола, устроенного на охоте, какой-то придворный льстец восхвалил подвиг царя, затравившего 4000 зайцев, Петр иронически сказал: «Я еще лучшую дичь затравил; веду с собою четырех двуногих собак!». Когда играли в фанты, и положено было тому, кому вынется, поцеловать одну из княжен Долгоруковых, царь ушел и скрылся. Наконец самая страсть его к охоте как будто начинала утихать; он раздарил много своих собак, говорил, что больше охотиться не хочет, и бранил всех тех, кто его увлекал на охоту.

Такие проблески поворота к чему-то иному давали мимолетные надежды бдительному Остерману и лицам его партии, сторонникам новой России, созданной гением Петра Великого. Но то было ненадолго. Долгоруковы слишком ловко и бесстыдно умели держать в своих тенетах молодого императора, потакали ему во всем, терпеливо сносили его своенравные выходки и за то делали его во всем послушным их воле. Князю Алексею хотелось во что бы то ни стало женить бесхарактерного, неопытного отрока на своей дочери. По грустному стечению обстоятельств обе невесты молодого императора, одинаково навязанные ему наглостью и хитростью их родителей, не нравились ему самому, да и сами его не любили. Обе княжны — и Меншикова, и Долгорукова — были жалкими жертвами честолюбия и алчности отцов, думавших сделать детей своих слепыми орудиями для возвышения своих родов. Обе сердцами рвались к другим лицам: княжна Мария Меншикова предпочитала царю Сапегу; княжна Екатерина Долгорукова уже любила молодого красивого графа Милезимо, шурина имперского посла Вратиславского. Родитель княжны узнал об этой склонности, насильственно пытался заглушить ее и заставить дочь свою, хотя бы против ее собственной воли, казаться любящею императора. Князь Алексей Григорьевич возненавидел Милезимо, как человека, ставшего на дороге его честолюбивым замыслом, и начал мстить ему самыми неблагородными способами. Так, еще в апреле 1729 года Милезимо, отправляясь на дачу к графу Вратиславскому, проезжая мимо царского

дворца, сделал несколько выстрелов. Вдруг его хватают гренадеры. «Запрещено, — говорят ему, — здесь стрелять; велено брать всякого, не смотря ни на какую знатность». Гренадеры повели Милезимо пешком по грязи; он просил дозволения, по крайней мере, сесть в свой экипаж, из которого вышел для того, чтоб стрелять. Ему этого не дозволили. По бокам его ехало двое гренадеров верхом, а другие вели его пешком, и притом вели нарочно мимо дворцовой гауптвахты; выскочили офицеры и гвардейские солдаты и с любопытством глядели на эту сцену. Его повели через дворцовый мост к князю Долгорукову; гренадеры, провожавшие его, отпускали над ним насмешки и ругательства. Милезимо, знавший по-чешски, по близости между собой чешского и русского наречий, понял, что говорили солдаты, а те потешались над ним такого рода остротами, которых передавать не дозволила скромность испанскому посланнику, оставившему известие об этом приключении. Милезимо, наконец, привели на княжеский двор. Хозяин, вероятно, сам заранее устроивший с ним такую проделку, стоял на крыльце. Приглядевшись, он как будто удивился, увидавши перед собой особу, которой никак не предполагал встретить в этом виде; князь не сказал ему обычного приветствия, как знакомому, не пригласил к себе в дом и сухо произнес: «Очень жалею, граф, что вы запутались в эту историю, но с вами поступлено по воле государя. Его величество строго запретил здесь стрелять и дал приказание хватать всякого, кто нарушит запрещение». Милезимо хотел было объяснить, что запрещение это было ему неизвестно; но князь прервал его и сказал: «Мне нечего толковать с вами, вы можете себе отправляться к вашей Божьей матери». С этими словами князь Алексей Григорьевич повернулся к нему спиной, вошел в дом и затворил за собой двери.

Милезимо пожаловался своему зятю Вратиславскому. Тот принял близко к сердцу такой поступок с чиновником имперского посольства, счел его оскорблением, общим для всех иностранных посольств в России, и отправил своего секретаря к испанскому министру, так как испанский король находился тогда в самом тесном союзе с государем Вратиславского. Герцог Де Лирия обратился по этому делу к Остерману. Хитрый и уклончивый барон Андрей Иванович тотчас расчел, что не след ему слишком вооружаться против князя Алексея Григорьевича, понимая, что последний устраивал пакости своему личному врагу, прикрываясь благовидными законными предложениями. «Я сделаю все возможное, — сказал Остерман, — чтобы граф Вратиславский получил надлежащее удовлетворение, прежде чем он сам его потребует; не заводя дела слишком далеко, я поступлю так, как того требует близкое родство нашего государя с императорским домом и дружественный союз между нашими государствами».

Передали об этом князю Ивану Алексеевичу, царскому фавориту. Тот сказался очень тронутым и послал к Вратиславскому своего домашнего секретаря объяснить, что неприятное событие произошло от недоразумения и от глупости гренадеров, которых он, князь Иван

Алексеевич, уже наказал. Отправленный за этим делом секретарь заходил и к Милезимо выразить от лица князя глубокое сожаление о том, что произошло. Милезимо после этого сам увидался с

[51]

фаворитом, и последний лично просил у него прощения за гренадеров, которые, как уверял, единственно по своему невежеству оказались непочтительными к особе чиновника имперского посольства. И барон Остерман, по поводу этого приключения, посылал извиняться к Вратиславскому, но заметил, что Милезимо сам виноват, если его не узнали. Вратиславский, вместо того, чтоб успокоиться таким извинением, был, напротив, задет им; он отправил снова своего приятеля герцога Де Лирия высказать Остерману, что имперский посол не доволен таким способом удовлетворения; притом ему не нравилось и то лицо, которое Остерман присылал к нему для объяснений. Барон Остерман на этот раз, в разговоре с испанским посланником, поднял тон голоса выше и стал уже в положение не знакомого друга, а русского министра, ведущего речь о вопросе, касающемся чести государства.

— Графу Вратиславскому, — сказал Остерман, — дано слишком большое удовлетворение, тем более что в этом деле виноват сам граф Милезимо, если с ним произошла неприятная история. Действительно, государь дал запрещение охотиться в окрестностях на расстоянии тридцати верст, а граф Милезимо начал стрелять в виду дворца, да еще грозил гренадерам, прицеливаясь в них ружьем и обнажая против них шпагу.

— Это неправда, — отвечал ему испанский посланник, — граф Милезимо не оказывал никакого сопротивления и оказать его в своем положении не мог.

— Его царское величество, — сказал Остерман, — неограниченно властен в своем государстве давать всякие приказания, какие ему дать будет угодно; все обязаны знать это и исполнять.

Испанец с горячностью сказал:

— Все, даже дети, знают, что каждый государь имеет право давать приказания в своем государстве, но чтоб с этими приказаниями сообразовались иностранные министры и люди их свиты, необходимо, чтоб о том извещала их коллегия Иностранных дел; на это заранее должен был бы обратить внимание государственный секретарь или министр, через которого они ведут сношения. И граф Вратиславский, и я с нашими кавалерами получили от его царского величества дозволение охотиться в окрестностях, а чтоб было запрещение охотиться в одном каком-нибудь месте не только подданным, но и нам, получившим дозволение охотиться всюду, нужно было передать нам особое сообщение.

Остерман не стал придумывать изворота в ответ на такое заявление и сказал:

— Я все сделал, что только мог; граф Вратиславский должен остаться удовлетворенным.

После такого разговора Вратиславский, узнавши об отзыве Остермана, пригласил к себе представителей иностранных дворов и заявил им, что удовлетворение, предложенное Остерманом по делу с Милезимо, считает недостаточным для чести и значения своего государя и полагает, что наглый поступок русских с чиновником имперского посольства наносит оскорбление всем представителям иностранных дворов в Москве. Сторону Вратиславского с живостью приняли представители Испании, Польши, Дании и Пруссии.

Обдумавши, они послали требование, чтоб князь Алексей Григорьевич извинился перед Вратиславским, и если в самом деле виной всему глупость гренадеров, то, хотя бы их уже и наказали, пусть он их пришлет в распоряжение Вратиславского для наказания, или же, если то будет угодно Вратиславскому, пусть экзекуция над виновными произведется в присутствии посольского чиновника, которого пришлет Вратиславский с тем, чтоб быть свидетелем.

Так и случилось. Князь Алексей Григорьевич прислал к Вратиславскому бригадира, служившего в дворцовом ведомстве и заведовавшего запрещенным для стрельбы округом, в котором стрелял Милезимо. Этот бригадир должен был выразить бесконечное сожаление о неприятном случае, происшедшем с Милезимо, и известить, что хотя гренадеры уже наказаны, однако могут подвергнуться новому наказанию, если то графу Вратиславскому будет угодно. Этим дело и покончилось. Вратиславский счел себя удовлетворенным, а князь Алексей Григорьевич все-таки достиг своего: Милезимо понял, за что с ним произошло неприятное событие, понял, что ему закрыты двери дома Долгоруковых, и он лишен возможности нежных свиданий с княжною, которую полюбил и которая любила его.

Разлучивши Милезимо с княжною, нежные родители старались беспрестанно представлять ее особу глазам молодого царя и всюду таскали ее на охоту с прочими членами своей семьи, даром что ей было тяжело в этом сообществе и все помышления ее обращались к молодому иноземцу, даром что царь вовсе не показывал к ней таких знаков внимания, какие говорили бы сколько-нибудь о существовании к ней сердечного влечения. Ловкому родителю все это было нипочем: он решился во что бы то ни стало привести дело к желанному для него концу. Еще до последней осенней поездки государя на охоту, иноземная партия думала подставить Петру чужестранную невесту, принцессу Брауншвейг-Бевернскую: ее рекомендовал Вратиславский как родственницу своего императора. Но Долгоруковы, удаливши Петра из Москвы, успели вооружить его против этого намерения; брак с иноземкою, представляли они, не будет счастлив; в пример тому указывали даже на покойного родителя государя, царевича Алексея Петровича, которого отец женил против воли и желания; гораздо лучше царю поискать достойной супруги в своей родной земле между

подданными, как делали из рода в род старые московские государи. Петр уже был настроен и постоянно поддерживаем в желании жить и поступать не по пути своего деда, а по пути старых праотцев и потому сердечно отнесся к этой мысли. Родители княжны Екатерины нарочно делали так, чтоб она везде торчала перед глазами царя: и на пирушках, следовавших за охотою в поле, и в Горенках, куда завозили государя Долгоруковы с охоты на несколько дней, — везде около него была неизбежная княжна Екатерина. В Горенках длинными осенними вечерами собирались играть в карты, в фанты: всегда ближе всех к царю — княжна Екатерина. Мы не знаем подробностей обстоятельств, как произошло первое заявление царя о желании вступить с нею в брак; но понятно, что четырнадцатилетнего отрока не трудно было настроить и подготовить к этому, когда ни на шаг не спускали его с рук и с глаз и беспрестанно подставляли ему хорошенькую девицу, заставляя ее оказывать государю всякие видимые любезности. Еще царь не воротился из своей поездки, а уже в Москве и знатные, и незнатные твердили в один голос, что молодой император женится на дочери князя Алексея Григорьевича. Пришел ноябрь. Начались приготовления к какому-то торжеству: оно должно было произойти тотчас по возвращении царя. Тогда не предстояло ни именин, ни дня рождения никого из царственных особ, и все в Москве догадывались, что ожидаемое торжество должно было быть не иное что, как обручение царя Петра с княжною Екатериною Долгоруковою.

Наконец царь воротился в Москву. Тайна ожидания внезапно разъяснилась. Петр остановился в Немецкой слободе, в Лефортовском дворце, и через несколько дней, 19 ноября, собрал членов Верховного тайного совета, знатнейших сановников духовных, военных и гражданских, весь так называемый генералитет, и объ-

[52]

явил, что намерен вступить в брак со старшею дочерью князя Алексея Григорьевича Долгорукова, княжною Екатериною.

Событие было не новостью в своем роде для русских: все прежние цари выбирали себе жен из подданных и даже не смотрели на знатность или незнатность рода невесты. Род князей Долгоруковых был притом знатен и даже доставлял уже в царскую семью невест. Но в браке молодого, не достигшего еще шестнадцатилетнего возраста государя все ясно видели нечестную проделку; все поняли, что Долгоруковы, пользуясь малосмыслием царя, слишком юного, и не обращая внимания на последствия, спешат преждевременно связать его узами свойства со своей фамилией, с тем расчетом, что уз этих, при неразрывности брака, предписываемой уставами православной церкви, невозможно будет расторгнуть. Но все могли понимать, что расчет Долгоруковых не вполне был верен; при неограниченном самодержавии царей никакие церковные законы не были сильны: об этом ясно свидетельствовали неоднократные примеры в русской истории, да и за примерами такими не нужно было

пускаться памятью в отдаленные века — еще жива была первая супруга Петра Великого, только что освобожденная от долгого, тяжелого заключения, и Петр II со временем мог в этом пойти по следам своего деда Петра I. Слушавшие заявление государя о предстоящем брачном союзе шепотом говорили между собою: «Шаг смелый, да опасный. Царь молод, но скоро вырастет: тогда поймет многое, чего теперь не домекает».

Однако никто не смел тогда высказать этого гласно, и, когда наступило 24 ноября, день св. великомученицы Екатерины, все высшие чины государства и иностранные министры поздравляли со днем тезоименитства избранницу царского сердца. Долгоруковы, поймавши на удочку царственного юношу, спешили покончить начатое, чтоб не дать царю времени одуматься. 30 ноября назначен был день обручения.

Современники оставили нам описание этого замечательного дня, который должен был вознести род Долгоруковых до крайних пределов величия, какого только могли достигнуть в России подданные и какое оказалось по приговору непонятной судьбы в действительности подобием мыльного пузыря.

Торжество это происходило в царском дворце в Немецкой слободе, известном под именем Лефортовского. Приглашены были члены императорской фамилии: цесаревна Елисавета, мекленбургская герцогиня Екатерина Ивановна, дочь ее, принцесса мекленбургская Анна (впоследствии правительница России под именем Анны Леопольдовны); приехала из своего монастыря и бабка государя, инокиня Елена. Не доставало только герцогини курляндской Анны Ивановны, находившейся тогда в Митаве. Все эти присутствовавшие здесь женского пола члены царского рода были недовольны совершившимся событием, за исключением, быть может, бабки-отшельницы, с добродушным равнодушием уже сознавшей суету всего земного. Приглашены были члены Верховного тайного совета, весь генералитет, духовные сановники и все родственники и свойственники рода Долгоруковых; последние, для пышности, приглашались через собственного шталмейстера Алексея Григорьевича. Здесь были иностранные министры с своими семействами и много особ женского пола — вся знать московская, как русская, так и иноземная.

Царская невеста, объявленная с титулом ее высочества, находилась тогда в Головинском дворце, где помещались Долгоруковы. Туда отправился за невестою светлейший князь Иван Алексеевич, в звании придворного обер-камергера, в сопровождении императорских камергеров. За ним потянулся целый поезд императорских карет.

Княжна Екатерина Алексеевна, носившая тогда название «государыни-невесты», была окружена княгинями и княжнами из рода Долгоруковых, в числе которых были ее мать и сестры. По церемонному приглашению, произнесенному обер-камергером, невеста вышла из дворца и села вместе со своею матерью и сестрами в карету, запряженную цугом, на передней части которой стояли императорские

пажи. По обеим сторонам кареты ехали верхом камер-юнкеры, гоффурьеры, гренадеры и шли скороходы и гайдуки пешком, как требовал этикет того времени. За этой каретой тянулись кареты, наполненные княгинями и княжнами из рода Долгоруковых, но так, что ближе к той карете, где сидела невеста, ехали те из рода Долгоруковых, которые по родственной лестнице считались в большей близости к невесте; за каретами с дамами Долгоруковского рода тянулись кареты, наполненные дамами, составлявшими новообразованный штат ее высочества, а позади их следовали пустые кареты. Сам обер-камергер, брат царской невесты, сидел в императорской карете, ехавшей впереди, а в другой императорской карете, следовавшей за ним, сидели камергеры, составлявшие его ассистенцию. Этот торжественный поезд сопровождался целым батальоном гренадеров в количестве 1200 человек, который должен был занять караул во дворце во время обряда обручения. Все тогда говорили, что князь Иван Алексеевич нарочно призвал такое множество вооруженного войска в тех видах, чтобы не допустить до каких-нибудь неприятных выходов, потому что он знал о господствовавшем в умах нерасположении к Долгоруковым. Поезд двинулся из Головинского дворца через Салтыков мост на Яузе к Лефортовскому дворцу. По прибытии на место обер-камергер вышел из своей кареты и стал на крыльце, чтобы встречать невесту и подать ей руку при выходе из кареты. Оркестр музыки заиграл, когда она, ведомая под руку братом, вошла во дворец.

В одной из зал дворца, назначенной для обручального торжества, на шелковом персидском ковре поставлен был четвероугольный стол, покрытый золотою материею; на нем стоял ковчег с крестом и две золотые тарелочки с обручальными перстнями. По левой стороне от стола, на другом персидском ковре, поставлены были кресла, на которых должны были сидеть бабка государя и невеста, и рядом с ними на стульях мекленбургские принцессы и Елисавета, а позади их на стульях в несколько рядов должны были сидеть разные родственники невесты и знатные дамы. По правой стороне от стола на персидском ковре поставлено было богатое кресло для государя.

Обручение совершал новгородский архиепископ Феофан Прокопович. Над высокою четою во время совершения обряда генерал-майоры держали великолепный балдахин, вышитый золотыми узорами по серебряной парче.

Когда обручение окончилось, жених и невеста сели на свои места и все начали поздравлять их при громе литавр и при пушечной троекратной пальбе. Тогда фельдмаршал князь Василий Владимирович Долгоруков произнес царской невесте такую знаменательную речь:

«Вчера я был твой дядя, нынче ты мне государыня, а я тебе верный слуга. Даю тебе совет: смотри на своего августейшаго супруга не как на супруга только, но как на государя, и занимайся только тем, что может быть ему приятно. Твой род многочислен и, слава Богу, очень богат, члены его занимают хорошия места, и если тебя станут просить о

милости для кого-нибудь, хлопочи не в пользу имени, а в пользу заслуг и добродетели. Это будет настоящее средство

[53]

быть счастливою, чего я тебе желаю» (Соловьев, XIX, 235).

В то время говорили, что этот фельдмаршал, хотя и дядя царской невесты, противился браку ее с государем, потому что не замечал между ним и ею истинной любви и предвидел, что проделка родственников поведет род Долгоруковых не к желаемым целям, а к ряду бедствий. В числе приносивших поздравления царской невесте был и Милезимо как член имперского посольства. Когда он подошел целовать ей руку, она, подававшая прежде машинально эту руку поздравителям, теперь сделала движение, которое всем ясно показало происшедшее в ее душе потрясение. Царь покраснел. Друзья Милезимо поспешили увести его из залы, посадили в сани и выпроводили со двора.

По окончании поздравлений высокая чета удалилась в другие апартаменты; открылся блистательный фейерверк и бал, отправлявшийся в большой зале дворца. Гости заметили, что инокиня Елена, несмотря на свою черную иноческую одежду, показывала на лице сердечное удовольствие. Зато царская невеста в продолжение всего этого рокового вечера была чрезвычайно грустна и постоянно держала голову потупивши. Ужина не было, ограничились только закускою. Невесту отвезли в Головинский дворец с тем же церемониальным поездом, с каким привезли для обручения.

Имперский посланник граф Вратиславский, недавно еще думавший дать царю в супруги немецкую принцессу, мог быть недоволен этим обручением более всякого другого, но он не только не высказал чего-нибудь подобного, а, соображая возвышение в грядущем рода Долгоруковых, стал заискивать их расположения и особенно увивался около князя Ивана Алексеевича. Вратиславский стал хлопотать у своего государя, чтобы князю Ивану Алексеевичу дать титул князя Римской империи и подарить то княжество в Силезии, которое было дано Меншикову. Испанский посланник, герцог Де Лирия, вел себя так же, как и Вратиславский, и хотя до сих пор казался преданным имперскому послу, но теперь явился ему соперником в соискании расположения Долгоруковых. Оба старались, так сказать, забежать вперед и насолить друг другу. Вратиславский наговаривал Долгорукову про испанского посланника, что он разносит слухи, будто отец князя пользуется незрелостью и ребяческою бесхарактерностью царя, а герцог Де Лирия успел разуверить в этом князя Ивана, наговорить на Вратиславского и потом в письмах своих, отправленных в Испанию, хвастался, что князь Долгоруков привязался к нему и стал ненавидеть австрийцев (Депеши герцога Де Лирия, напеч. в рус. переводе во 2 т. сборн. XVIII век, изд. Бартенева).

Через несколько дней после обручения царя Вратиславский спровадил из Москвы своего шурина Милезимо. Он отправил его в Вену

передать императору весть о важном событии, происшедшем в русском придворном мире. Вратиславский опасался, чтобы этот горячий молодой человек, оставаясь в Москве, в припадке оскорбленной любви не показал каких-нибудь эксцентрических выходов. Но Милезимо в то время так замотался, что кредиторы не хотели его выпускать, и Вратиславский с большим усилием уговорил их до поры до времени взять векселя. Кажется, князь Алексей Григорьевич не оставлял этого молодца своим злобным вниманием.

Род Долгоруковых достиг теперь крайних пределов величия. Все смотрело им в глаза, все льстило им в чаянии от них великих богатых милостей. Пошли толки, чем кто из Долгоруковых будет, какое место займет на лестнице высших государственных должностей. Твердили, что князю Ивану Алексеевичу быть великим адмиралом; его родитель сделается генералиссимусом, князь Василий Лукич — великим канцлером, князь Сергей Григорьевич — обер-шталмейстером; сестра Григорьевичей Салтыкова станет обер-гофмейстериною при новой молодой царице. Делали разные предположения о том, на кого из знатных девиц падет выбор царского фаворита. Одни, по догадкам, предполагали, что он женится на Ягужинской, другие, и в их числе иностранные посланники, были уверены, что его честолюбие не удовлетворится иначе, как союзом с особою царской крови; говорили, что князь Иван женится на цесаревне Елисавете: к ней он и прежде показывал внимание, но принцесса не отвечала ему и после царского обручения удалилась в деревню; ее привезут в Москву — говорили тогда в придворном кругу — и царь предложит ей либо выходить за фаворита, либо идти в монастырь. Но не сбылось ни одно из этих предположений. Князь Иван Алексеевич долго вел ветреный образ жизни, перебегая от одной женщины к другой, и наконец теперь остановился на девушке, к которой почувствовал столько же любви, сколько и уважения; то была графиня Наталья Борисовна Шереметева, дочь Бориса Петровича, фельдмаршала Петрова века, покорителя Ливонии, которого память была очень любима в России в то время. 24 декабря произошло их обручение в присутствии государя и всех знатных лиц. Оно совершилось с большою пышностью; по известию, оставленному самой невестой в своих записках, одни обручальные перстни их стоили: женихов 12000 руб., невестин 6000 руб.

Между тем дни за днями проходили; при дворе каждый почти день отправлялись празднества; вся Москва носила тогда праздничный вид, ожидая царского брака, но близкие к государю люди замечали, что он и после обручения не показывал никаких знаков сердечности к своей невесте, а становился к ней холоднее. Он не искал, подобно каждому жениху, случая почаще видеть свою невесту и быть с нею вместе, напротив, уклонялся от ее общества; замечали, что ему вообще было приятнее, когда он находился без нее. Этого и надобно было ожидать: малосмысленный отрок не имел настолько внутренней силы характера, чтоб отцепиться от Долгоруковых впору; его подвели: отрок

неосторожно, может быть, под влиянием вина, болтнул о желании соединиться браком, а бесстыдные честолюбцы ухватились за его слово. «Царское слово премоно не бывает» — гласила старая русская поговорка, и, вероятно, эта поговорка не раз повторялась Петру в виде назидания. И вот его довели до обручения. Но тут, естественно, еще более опротивела ему и прежде немилая невеста. Это положение понимали все окружавшие царя и втайне пророчили печальный исход честолюбию Долгоруковых. Сам князь Алексей Григорьевич, досадуя, что время рождественского поста и святки помешало скорому совершению брака, и замечая усиливающееся охлаждение царя к невесте, хотел было устроить тайный брак, но потом отстал от этой мысли, взвесивши, что такой брак, совершенный не в положенное церковью время, не имел бы законной силы. Приходилось вооружиться терпением и подождать несколько дней. Царский брак мог совершиться только после праздника Крещения и назначен был на 19 января. Между тем на Новый год царь сделал выходку, которая сильно не понравилась князю Алексею Григорьевичу: не сказавши Долгоруковым, он ночью ездил по городу и заехал в дом к Остерману, у которого, как рассказывает иностранный министр того времени (Lefort. Herremann, 536), находилось еще двое членов Верховного тайного совета, и было там при государе какое-то совещание, вероятно, не в пользу Долгоруковых: они умышленно были устранены от участия в нем. После того, как сообщает тот же современник,

[54]

царь имел свидание с цесаревной Елисаветой: она жаловалась ему на скудость, в какой ее содержали Долгоруковы, захвативши в свои руки все дела двора и государства; в ее домашнем обиходе чувствовался даже недостаток в соли. «Это не от меня идет, — сказал государь, — я уже не раз давал приказания по твоим жалобам, да меня плохо слушаются. Я не в состоянии поступить так, как бы мне хотелось, но я скоро найду средство разорвать свои оковы».

В самом возвышающемся роде Долгоруковых не было согласия. Фельдмаршал, князь Василий Владимирович, и прежде недовольный проделками князя Алексея Григорьевича, не переставал роптать и обличать его. Князь Алексей Григорьевич не ладил с сыном, царским фаворитом, да и сама невеста стала недовольна братом за то, что не допускал ее овладеть бриллиантами умершей великой княжны Натальи Алексеевны, которые царь обещал своей невесте. Других ветвей князя Долгоруковы не только не пленялись счастьем, привалившим к одной линии многочисленного княжеского рода, но питали к ней чувство злобной зависти. По всему можно было предвидеть — и уже многие предсказывали, — что предполагаемой свадьбе не бывать; и князей Долгоруковых, по воле опомнившегося царя, постигнет судьба князя Меншикова.

В начале 1730 года получено было известие о смерти Меншикова. Несчастный изгнанник, заточенный в ледяной пустыне, был сначала помещен с семейством в остроге, нарочно в 1724 г. построенном для государственных преступников, а потом ему дозволили построить свой собственный домик. Он переносил свое горе с истинно геройскою твердостью духа. Как ни томило его внутренне это горе, не показывал он тоски своей внешними знаками, казался довольно весел, заметно пополнил и был чрезвычайно деятелен. Из скудного содержания, какое выдавалось ему, сумел он составить такой запас, что мог на него построить деревянную церковь, которая была еще при нем освящена во имя Рождества Богородицы. (Замечательно, что в этот праздник постигла Меншикова опала.) Он сам своею особою работал топором над ее постройкою; недаром приучил его с юности к такого рода работе Петр Великий. Меншиков был очень благочестив, сам звонил к богослужению и на клиросе своей Березовской церкви исполнял должность дьячка, а дома читал детям Священное Писание. Говорят, что он составлял свое жизнеописание и диктовал его детям своим. К сожалению, оно не дошло до нас. 12 ноября 1729 года, 56 лет от роду, он скончался от апоплексического удара: в Березове некому было пустить заболевшему кровь. Когда получено было в Москве через тобольского губернатора (от 25 ноября 1729 года) известие о кончине Меншикова, Петр приказал освободить его детей и позволить им жить в деревне дяди их Арсеньева с воспрещением въезжать в Москву; повелено было дать им на прокормление по сто дворов из прежних имений их родителя и сына записать в полк (Есип., «Ссылка кн. Менш.», Отеч. Зап. 1861, № 1, стр. 88). Старшая дочь Александра Даниловича, Мария, бывшая невеста императора, умерла в Березове, но о времени ее кончины существует разногласие. По одним известиям, она умерла при жизни отца, и родитель сам погребал ее, по другим известиям и вероятнейшим (см. «Ссылка кн. Менш.», *ibid.*, прилож. № 6, стр. 37), ее не стало на другой месяц после кончины отца, 26 декабря 1729 года.

6 января 1730 года царь поехал в город на освящение воды и, воротившись в свой Слободской дворец, жаловался на нездоровье. На другой день высыпала у него по телу оспа. Болезнь эта, как известно, вообще такого свойства, что несколько дней нельзя утвердительно делать предсказания относительно ее исхода; но как Петр был последний из мужской линии дома Романовых, то возможность его кончины заранее возбуждала вопросы, кто будет ему преемником и кто должен собою открыть другую династию или другую линию прежней династии. Это занимало не одних русских государственных людей, но и министров иностранных дворов, обязанных блюсти интересы тех государств, которых были представителями в России. В числе этих иностранных министров в России был датский министр Вестфален, большой дипломат и интриган. Еще при Екатерине I, как мы выше приводили, он сблизился с Меншиковым и настраивал его примкнуть к партии Петрова внука. В оное время датский министр хлопотал, чтобы по

кончине Екатерины взошел на престол Петр II, потому что иначе могли бы занять престол или голштинская герцогиня, или находившаяся в большой дружбе с нею сестра ее, Елисавета, а это было бы опасно и противно политике датского правительства. Теперь, на случай рановременной смерти Петра II, поднималось прежнее опасение. По кончине последнего из мужской линии Романова дома, наследство престола могло перейти или к цесаревне Елисавете, или к малолетнему сыну покойной голштинской герцогини. Для Дании было полезно, если бы в России наследовало престол лицо, не имеющее дружественной связи с Голштинским домом, и всего лучше, если бы оно могло стать в неприязненные отношения к последнему. Вестфален был же свидетелем, как по смерти Петра Великого престол достался его вдове, не имевшей никакого родового права; поэтому, как соображал он, в России преемничество может быть мимо всякой кровной связи с прежде царствовавшим домом. Датский министр написал к Василию Лукичу Долгорукову письмо и вкинул в него соблазнительную мысль объявить преемницею Петра царскую невесту, наподобие того, как после кончины Петра Великого провозглашена была властвующею императрицею Екатерина. Тогда — замечал он — устроили такое дело Меншиков с Толстым, почему же теперь не могут сделать того Долгоруковы? Василий Лукич сообщил об этой мысли князю Алексею Григорьевичу. 12 января государю стало лучше, и дело было оставлено.

Все надеялись, что болезнь Петра уже не представляет опасности. Но 17 января Петр, который по своей отроческой живости никогда не берег себя от влияний температуры, отворил окно. Внезапно закрылась вся высылавшая по телу оспа. Все увидели тогда безнадежность. Царь тотчас же начал впадать в беспамятство.

Тогда князь Алексей Григорьевич пригласил к себе в Головинский дворец родню свою для тайного родственного совета. Сошлись братья его, Сергей и Иван Григорьевичи, Василий Лукич и брат царской невесты Иван Алексеевич. Князь Алексей Григорьевич, оставив их в своей спальне, поехал в Лефортовский дворец осведомиться о здоровье государя. В его отсутствие приехали в Головинский дворец князья Василий и Михаиле Владимировичи. Быть может, отец царской невесты нарочно выехал из дома, чтоб дать возможность без себя сказать братьям Владимировичам о том, что затевалось по наущению Вестфалена: ему самому казалось неприличным говорить в пользу своей дочери тем, которые и прежде неблагосклонно смотрели на предполагаемый царский брак.

Князья Григорьевичи сказали князьям Владимировичам:

— Вот его величество весьма болен и в беспамятстве; ежели скончается, то надобно, как можно, удержать, чтобы после его величества наследницею российского престола быть обрученной его величества невесте, княжне Екатерине.

[55]

— Княжна Екатерина не венчалась с государем, — сказал князь Василий Владимирович.

— Не венчалась, так обручалась, — отвечали Григорьевичи.

— Ино дело венчание, а иное обручение, — сказал Василий Владимирович.—Хотя бы она и венчана была, и тогда в учинении ее наследницею не без сумнения было бы. Не то что посторонние, да и нашей фамилии прочие лица у ней в подданстве быть не захотят. Покойная государыня Екатерина Алексеевна, хотя и царствовала, но только ее величество государь император при животе своем короновал.

— Стоит только крепко захотеть, — сказали Григорьевичи. — Уговорим графа Головкина и князя Дмитрия Голицына, а коли заспорят, так мы их и бить начнем. Как не сделаться по-нашему? Ты, князь Василий Владимирович, в Преображенском полку подполковник, а князь Иван — майор; а в Семеновском полку спорить против нас некому.

Князь Василий Владимирович на это сказал:

— Что вы, ребячье, врете! Статочное ли дело? И затем, как я полку объявлю? Услышат об этом от меня, не то что станут бранить, еще и побьют!

Тогда Григорьевичи сказали:

— А если княжну Екатерину изволит государь объявить своею наследницею в духовной?

Князь Василий Владимирович отвечал:

— То было бы хорошо, понеже оное дело в воле его величества состоит, только как нам о таком несостоятельном деле рассуждать, когда вы сами знаете, что его величество весьма болен и говорить не может, как же его величеству оное дело учинить!

Тут приехал князь Алексей Григорьевич и сообщил, что положение государя нимало не улучшается и, напротив, кажется безнадежным. Зашла опять речь о наследстве, и князь Василий Владимирович в резких выражениях начал возражать против намерения сделать наследницею престола царскую невесту. «Вы все сами себя погубите, если станете этого добиваться», — пророчески сказал он князю Алексею Григорьевичу и потом уехал с братом Михаилом.

Оставшиеся в Головинском дворце Долгоруковы опять принялись за вопрос о наследстве. Князь Сергей Григорьевич сказал:

— Нельзя ли написать духовную от имени государя, якобы он учинил своею наследницею невесту свою, княжну Екатерину?

Уже братьев Владимировичей не было, и никто не возражал против такого незаконного предприятия. Князь Василий Лукич вызвался сочинять фальшивый документ, сел у комля, взял лист бумаги и стал писать; но, не дописавши всего, он бросил бумагу и сказал:

— Моей руки письмо худое. Кто бы написал получше?

Тогда взялся за перо и бумагу князь Сергей Григорьевич, а князя Василий Лукич и Алексей Григорьевич сочиняли духовную и диктовали ему, так что один скажет, а другой прибавит. Таким способом князь Сергей написал духовную от имени государя в двух экземплярах. Тут

князь Иван Алексеевич вынул из кармана письмо государя и свое собственное писание и сказал:

— Посмотрите, вот письмо государево и моей руки. Письмо руки моей слово в слово, как государево письмо. Я умею под руку государеву подписываться, потому что я с государем в шутку писывал.

И под одним из экземпляров составленной духовной он подписал: «Петр».

Все хором решили, что почерк князя Ивана Алексеевича удивительно как сходен с почерком государя.

Но с первого раза не решились фальшивой духовной, подписанной князем за государя, дать значение действительного документа. Оставался другой экземпляр, еще не подписанный. Отец и дядя сказали князю Ивану:

— Ты подожди и улучи время, когда его величеству от болезни станет свободнее, тогда попроси, чтоб он эту духовную подписал, а если за болезнью его рукою та духовная подписана не будет, тогда уже мы по кончине государя объявим ту, что твоей рукою подписана, якобы он учинил свою невесту наследницею. А руки твоей с рукою его императорского величества, может быть, не познают.

После такого совета князь Иван, взявши оба экземпляра духовной, поехал в Лефортовский дворец и ходил там, беспрестанно осведомляясь, не стало ли лучше государю и нельзя ли быть к нему допущенным. Но ему был один и тот же ответ: государь крайне болен и находится в беспамятстве. Близ государя был неотступно Остерман, потому что Петр сам этого прежде хотел.

Так прошел день. На другой день, 18 января, князь Алексей Григорьевич спросил у сына:

— Где у тебя духовная?

— Здесь, — отвечал князь Иван. — Я не получил времени у его императорского величества, чтобы просить подписать духовную.

Отец сказал ему:

— Давай сюда, чтобы тех духовных кто не увидел и не попались бы кому в руки.

Князь Иван Алексеевич отдал отцу оба списка духовной (Кашперов, Пам. Нов. Рус. Ист. I, стр. 160 и далее).

Состояние здоровья государя было окончательно безнадежно. Его причастили св. Тайн, и три архиерея совершили над ним таинство елеосвящения. Остерман был неотступно у изголовья умиравшего своего царственного воспитанника. Петр, в припадках агонии, беспрестанно произносил его имя. Наконец, в ночь с 18 на 19 января 1730 года, во втором часу, Петр крикнул: «Запрягайте сани, хочу ехать к сестре!». С этим он испустил дыхание.

Петр II не достиг того возраста, когда определяется вполне личность человека, и едва ли история вправе произнести о нем какой-нибудь приговор. Хотя современники хвалили его способности, природный ум и доброе сердце — все, что могло подавать надежду увидеть хорошего

государя, но таким восхвалениям нельзя давать большой цены, потому что то были одне надежды на хорошее в будущем. В сущности, поведение и наклонности царственного отрока, занимавшего русский престол под именем Петра Второго, не давали права ожидать из него со временем талантливого, умного и дельного правителя государства. Он не только не любил учения и дела, но ненавидел то и другое, не показывал никакой любознательности; ничто не увлекало его в сфере государственного управления, всецело пристращался он к праздным забавам и до того подчинялся воле приближенных, что не мог сам собою, без пособия других, освободиться от того, что его уже тяготило; между тем увлекался постоянно соблазнительною мыслью, что он как самодержец может делать все по своему нраву и все вокруг него должны поступать так, как он прикажет. Царственный отрок был глубоко испорчен честолюбцами, которые пользовались его сиротством для своих эгоистических целей и его именем устраивали козни друг против друга. Смерть постигла его в то время, когда он находился во власти Долгоруковых; вероятно, если бы он остался жив, то Долгоруковых, по интригам каких-либо других любимцев счастья, постигла бы

[56]

судьба Меншикова, а те, другие, что низвергли бы Долгоруковых, в свою очередь, низвержены были бы иными любимцами. Во всяком случае, можно было ожидать царствования придворных козней и мелкого тиранства. Государственные дела пришли бы в крайнее запущение, как это уже и началось: пример верховного самодержавного главы заразительно действует на всю правительственную среду. Перенесение столицы обратно в Москву потянуло бы всю Русь к прежней недеятельности, к застою и к спячке, как уже того и опасались сторонники преобразования. Конечно, нельзя утверждать, что было бы так наверное, а не иначе, потому что случаются неожиданные события, изменяющие ход вещей. Таким случайным, неожиданным событием и явилась на самом деле рановременная кончина Петра Второго, которую можно, по соображениям, считать величайшим счастьем, посланным свыше для России: смерть юноши-государя всетаки была поводом к тому, что Россия снова была двинута по пути, проложенному Великим Петром, хотя с несравненно меньшею быстротою, энергиею и ясностью взглядов и целей.

[57]

КОММЕНТАРИИ

ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ (По поводу картины Н. В. Ге)

Очерк был опубликован в издании «Древняя и новая Россия. Ежемесячный исторический иллюстрированный сборник» (СПб., 1875. № 1, 2), позже Н. И. Костомаров включил его в «Исторические монографии» (2-е изд. 1881. Т. 14).

Статья является откликом на картину замечательного русского художника Н. Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе». Выставленная в 1871 г. на I передвижной выставке, она положила начало реалистическому направлению в русской исторической живописи. Полотно было написано в преддверии 200-летнего юбилея со дня рождения Петра I, отметить который готовилось русское общество. Н. И. Костомаров считал своим долгом подготовить очерк, посвященный сюжету картины, вызвавшей общественный резонанс. Появлению работы способствовало личное знакомство художника и ученого. В воспоминаниях И. Е. Репина отмечается, что на вечерах у Ге в начале 70-х гг. собирались «самые выдающиеся литераторы: Тургенев, Некрасов, Салтыков, Костомаров, Кавелин, Пыпин, Потехин; молодые художники: Крамской, Антокольский...».

Стр. 6.

В XI веке митрополит Иоанн... — Иоанн I (грек Иона) (ум. 1035) — митрополит киевский с 1008 г.

Стр. 6.

...француз Ляннуа, посещавший Новгород... — Ланноу (Ланнуа), Жильбер де — дипломат, путешественник. Автор воспоминаний, составленных на основе дорожных записей о поездках в 1413—14 гг. и 1421 г. в страны Восточной Европы, посетил Новгород и Псков.

Стр. 6.

Посхимиться — принять монашество.

Стр. 6.

Великий князь Василий Иванович поступил со своею женой Соломонию именно так, как поет ... народная песня: он приказал насильно постричь свою жену в монастырь... — Первая жена Василия Ивановича III Соломонида Юрьевна Сабурова в 1525 г. была насильно пострижена и сослана в суздальский Покровский монастырь.

Стр. 6.

Шаутбенахт — шаутбейнахт, контр-адмирал.

Стр. 7.

...меньшой, Александр, умер скоро после своего рождения... — Второй сын Петра I и Евдокии Лопухиной, родился 3 октября 1691 г., умер 14 мая 1692 г.

Стр. 8.

Погодин. — Погодин, Михаил Петрович (1800—1875)
— русский историк, писатель, журналист,.

Стр. 8.

...учителя Гюйсена... — Гюйссен, Генрих фон — доктор права, барон. На русской службе с 1702 г. Выполнял дипломатические поручения.

Стр. 8.

...под воспитательный надзор немца Нейгебауера.— Нейгебауэр (Небоуэр), Мартин — воспитанник Лейпцигского университета, рекомендован саксонским посланником. Претендовал на высокое положение при дворе, оскорбительно отзывался о русских.

Стр. 10.

...в созданный царем «парадиз»... — Парадизом (раем) называл в своих письмах Петр I Петербург.

Стр. 10.

...Александр Кикин. — Кикин, Александр Васильевич (ум. 1718) — русский государственный деятель. С 1707 г. возглавлял адмиралтейство. В 1715 г. был осужден за взятки и злоупотребления, прощен.

Стр. 10.

...всепьянственнейший собор... — Созданная Петром I шутовская организация, пародирующая обычаи католической церкви и суеверия противников реформ.

Стр. 12.

«...яко Илии жерца хребта сокрушение». — Библейский первосвященник и судья. Обладал добрым нравом, доходившим до слабости. Был наказан за снисхождение к сыновьям, допускавшим бесчиние. Умер, узнав о их гибели в войне с филистимлянами.

Стр. 12.

...по замечанию императорского посла в России, Плейера... — Плейер, Отто-Антон — дипломатический представитель Австрии в России в 1696—1710 гг. Автор сочинения «О нынешнем состоянии государственного управления в Московии... в 1710 г.» (М., 1874).

Стр. 14.

...церковной истории Барония... — Бароний, Цезарь (1538—1607) — историк церкви, кардинал.

Стр. 14.

«...богемский мартирологиум, ...животы святых Рибоденьера; ... Томас Акемпиз; ... Дрекसेлия о вечности...» — Мартиролог—название сборника повествований о христианских мучениках и проповедниках. Рибоденейра, Педро де (1527—1611) — испанский писатель, иезуит. Томас Акемпиз — Фома Кемпийский (1379—1471), богослов католической церкви, автор «Подражания Христу». Дрексель, Иеремия Д. (1581—1638) — немецкий католический писатель, иезуит.

Стр. 14.

«...постригут меня, как Василия Шуйского...» — Царь Василий Иванович Шуйский (1552—1612) в 1610 г. был свергнут с престола в результате дворянского заговора и насильно пострижен в монахи.

[60]

Стр. 16.

К тому ж и Давидово слово: всяк человек ложь.— Давид — библейский царь и пророк израильский. См.: Псалтирь, 115.

Стр. 16.

Клобук — монашеский головной убор.

Стр. 20.

...Петр Толстой... — Толстой, Петр Андреевич (1645—1729) — русский государственный деятель, дипломат, граф (1724). В 1702—14 гг. — посол в Турции. В 1718—26 гг. — глава Тайной канцелярии, возглавлял следствие по делу царевича Алексея. В 1727 г. арестован, сослан. Умер в Соловецком монастыре.

Стр. 20.

...по Утрехтскому миру... — Общее название ряда двусторонних мирных договоров 1713 г., завершивших войну за испанское наследство.

Стр. 21.

Фельдцейгмейстер — генерал-фельдцейхмейстер — начальник артиллерии.

Стр. 23.

...от богословской книги Назианзина... — Григорий Назианский (328—390) — богослов, христианский святой. Автор многочисленных богословских сочинений.

Стр. 26.

Можно ли не назвать достойным порицания поступок Владимира Мономаха с половецкими князьями или императора Сигизмунда с Гусом на Констанцском соборе? — В 1095 г. в Переславле княживший там Владимир Мономах разорвал мирный договор с половцами, убив находившихся у него союзных ханов Кытана и Итларя вместе с их дружинами. В 1414 г. национальный герой чешского народа, выдающийся мыслитель, идеолог чешской реформации Ян Гус (1371—1415) был вызван на церковный собор в Констанце, где, несмотря на охранную грамоту императора Сигизмунда, был брошен в тюрьму и казнен.

САМОДЕРЖАВНЫЙ ОТРОК

Статья увидела свет в 1-м томе за 1878 г. издания «Древняя и новая Россия. Исторический иллюстрированный ежемесячный сборник», впоследствии вошла в 14-й т. «Исторических монографий».

Стр. 29.

...голландскому герцогу, родному племяннику короля Карла XII... — Карл Фридрих (1700—1739) — герцог Гольштейн-Готторпский, сын Фридриха IV и Гедвиги-Софии, старшей дочери шведского короля Карла IX. Воспитывался в Швеции. В 1721—27 гг. жил в Петербурге. В 1725 г. заключил брак с цесаревной Анной Петровной. Отец Карла-Петра-Ульриха, ставшего всероссийским императором Петром III.

Стр. 30.

...на Феофана Прокоповича... — Прокопович, Феофан (1681—1736) — русский церковный и политический деятель, архиепископ. С 1721 г. — вице-президент Синода. Участвовал в создании Академии наук. Автор многочисленных проповедей, прозаических, стихотворных и других произведений.

Стр. 30.

Сам Петр заимствовал коллегиальное устройство из Швеции... — Хорошо знакомый с европейским законодательством, Петр I при учреждении коллегий в 1717—21 гг. использовал юридические документы шведского происхождения, соответствующие политическому строю России.

Стр. 30.

...если верить Бассевичу... — Бассевич, Генинг Фридрих фон (1680—1749) — граф, Президент Тайного совета герцогства Шлезвиг-Гольштейнского, резидент в России. Автор записок о России, охватывающих события 1713—1725 гг. (М., 1866).

Стр. 30.

...у Репнина отнял власть Меншиков... — Репнин, Аникита Иванович (1668—1726) — русский военный деятель, князь, с 1725 г. — генерал-фельдмаршал. Поддерживал Екатерину I и А. Д. Меншикова, но как сторонник Петра II был удален в Ригу.

Стр. 30.

Остерман. — Остерман, Андрей Иванович (Генрих Иоганн Фридрих) (1686—1747) — русский государственный деятель, дипломат, граф. На русской службе с 1703 г. Член Верховного тайного совета. С 1731 г. фактический руководитель русской внешней и внутренней политики.

Стр. 31.

...заклятому врагу Меншикова Девиеру... — Дивиер, Антон Мануйлович (1682—1745) — первый генералполицеймейстер Петербурга, граф, сенатор. Родом из Португалии. Был женат на сестре А. Д. Меншикова.

Стр. 31.

...помянуть его имя на ектеньях... — Ектеньи — название ряда молитвенных прошений в церковном богослужении.

Стр. 32.

Дивиер и, другие товарищи были осуждены именем императрицы в день ее кончины и затем сосланы. —

По завещанию Екатерины I престол наследовал Петр II. Дивиер, Толстой, Бутурлин, Ушаков и другие, принимавшие активное участие в деле царевича Алексея, составили заговор в пользу Анны Петровны, но были разоблачены. Приговор Екатерины I подтвердил манифестом воцарившийся Петр II.

Стр. 32.

«...по примеру римского императора Веспасиана...» —

Веспасиан, Тит Флавий (9—79) — римский император с 69 г. Старался править в согласии с Сенатом, опираясь на провинциальную аристократию.

Стр. 32.

Вебер. — Вебер, Христиан Фридрих — ганноверский резидент в России.

Стр. 33.

В 1711 г. во время несчастного Прутского дела... — Русско-турецкая война 1711 г., окончившаяся подписанием мира, по которому Россия лишилась Азова и уничтожила крепости на Дону и Днестре.

Стр. 34.

Ягужинский. — Ягужинский, Павел Иванович (1683—1736) — русский государственный деятель и дипломат, граф. Родился в Польше. В 1720—21 гг. — посланник в Австрии, в 1722 г. — генерал-прокурор Сената. В 1726—27 гг. — посол в Польше, 1731—34 гг. — в Пруссии. С 1735 г. — кабинет-министр.

[61]

Стр. 34.

Обер-гофмейстер — один из высших придворных чинов.

Стр. 36.

...с князем Василием Лукичом Долгоруковым... — Долгорукий, Василий Лукич (1670—1739) — дипломат. В разные годы — посол в Польше, Франции, Дании, Швеции. Член Верховного тайного совета. Активный участник заговора верховников, в 1730 г. сослан в Соловецкий монастырь. Казнен в 1739 г.

Стр. 38.

Скоропадский. — Скоропадский, Иван Ильич (1646—1722) — гетман Левобережной Украины с 1708 г. Избран после измены Мазепы.

Стр. 18.

...с гетманскими клейнотами... — Клейноты — войсковые знаки, регалии власти запорожцев.

Ст». 39.

...на Манштейна :ся. Р. Ст., апр. 1875. Прилож. стр. 5)... — Манштейн, Кристоф Герман (1711 —1767) — сын генерал-поручика русской армии. В 1736—44 гг. находился на русской службе, позже служил в Пруссии. Оставил «Записки о России», опубликованные в журнале «Русская старина» (Отд. изд. СПб., 1875).

Стр. 40.

Гоф-интендант — придворный чин, ведавший царскими дворцами и садами.

Стр. 45.

...курляндской герцогини Анны Иоанновны. — Анна Иоанновна (1693—1740) — дочь царя Иоанна V Алексеевича. Вышла замуж за герцога Курляндского (1710). Русская императрица с 1730 г.

Стр.45.

Испанский посланник Де Лирия... — Де Лирия (1695—1733) — англичанин, герцог. Автор мемуаров, опубликованных в Париже в 1788 г. (Русский перевод: СПб., 1845).

Стр. 46.

...одно знамя представляло собой символически то историческое знамя, которое велел сделать когда-то Константин Великий... — Гай Флавий Валерий Константин (285—337) — римский император. В 312 г.

перед сражением с Максенцием велел сделать ставшее знаменитым знамя с крестом и надписью «Сим победиши».

Стр. 49.

...президент Ревизион-коллегии... — Коллегия для ревизии в контроле финансового управления, создана в 1719 г.

Стр. 53.

...мекленбургская герцогиня Екатерина Ивановна, дочь ее принцесса мекленбургская Анна (впоследствии правительница России под именем Анны Леопольдовны)... — Екатерина Ивановна — дочь царя Ивана V Алексеевича. Анна Леопольдовна (1718—1746) — правительница России в 1740 — 1741 гг., мать объявленного наследником престола Ивана VI Антоновича. Свергнуты в 1741 г.

Стр. 53.

Шталмейстер — придворный чин, один из заведовавших придворной конюшней.

Стр. 53.

Гоф-фурьеры — чин для ближайшего заведования прислугой.

[62]

СОДЕРЖАНИЕ

Царевич Алексей Петрович (По поводу картины Н. Н. Ге) _____	5
Самодержавный отрок _____	28
Комментарии _____	60